

АННА

БЕРСЕНЕВА

АНТИСТЕРВА

Ермоловы

Анна Берсенева

Антистерва

«Анна Берсенева»

Берсенева А.

Антистерва / А. Берсенева — «Анна Берсенева», — (Ермоловы)

ISBN 5-699-18100-8

Быть стервой модно. Приобрести этот привлекательный имидж мечтают юные девушки и взрослые женщины. Инструкции о том, как стать стервой, и многочисленные энциклопедии стервологии составляют обширную библиотеку. И женщина, не желающая пронзать каблучками сердца богатых мужчин, вызывает в наше время недоумение. Тем более что у этой женщины, Лолы Ермоловой, есть все данные для того, чтобы добиться успеха. Она красива, обладает холодным умом, умеет выглядеть эффектно... Ради чего же она отказывается от блестящих возможностей, открывающихся перед умелой стервой, и что получит взамен?

ISBN 5-699-18100-8

© Берсенева А.
© Анна Берсенева

Содержание

Часть I	6
Глава 1	6
Глава 2	12
Глава 3	25
Глава 4	34
Глава 5	41
Глава 6	47
Глава 7	53
Глава 8	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Анна Берсенева АНТИСТЕРВА

Дорогой читатель Литрес!
Я стараюсь писать свои
книжки так, чтобы мне самой
интересно было их читать.
Пусть будет интересно и
Вам.

т. Со —————
(Анна Берсенева)

Часть I

Глава 1

Дорогу освещали только звезды.

Никакого другого света не было здесь уже давно, поэтому Лоле иногда казалось, что звезды в самом деле могут что-то освещать. Хотя по правде-то, конечно, она просто знала эту дорогу так хорошо, что могла идти по ней вообще без света и даже с закрытыми глазами. Она ходила по ней ровно двадцать семь лет.

Лола взшла на мостик, привычно прислушалась к однозвучному шуму воды в арыке, потом прошла мимо высокого Рустамова забора, так же привычно прислушалась к тому, как твердо постукивает спелая айва на свесившихся через забор ветках. Конечно, постукивание айвы ей только мерещилось – так же, как и то, что дорога освещена звездами. Ветра ведь не было, и плоды висели на ветках тяжело, неподвижно и беззвучно.

Наконец она прошла по асфальтовой дорожке между кустами ежевики и, доставая ключ, остановилась у двери своего дома. Дорога домой была благополучно пройдена, и, как всегда теперь бывало, Лола вздохнула с облегчением.

Как выяснилось, радовалась она преждевременно. Темная фигура поднялась со стоящей в ежевичной тени скамейки и медленно качнулась к ней.

– Долго домой ходишь, – услышала Лола и вздрогнула от неожиданности.

И тут же успокоилась: никакой неожиданности в появлении этого человека не было. Хотя и радости не было тоже. Но к отсутствию в своей жизни каких-либо радостей Лола давно уже привыкла.

– Опять ты меня караулишь, – вздохнула она. – Ну что тебе не спится, а?

Глаза ее настолько привыкли к темноте, что она различила, как лихорадочно сверкают глаза у ее собеседника, и ей все-таки стало не по себе. Вообще-то Мурод был незамысловат, и все, что он мог сказать и сделать, Лоле давно было известно. Но ведь кто его знает, не придет ли в затуманенную анашой голову что-нибудь новенькое.

– Тебя хочу, – незатейливо ответил он.

– Хочется, перехочется, потерпится, – усмехнулась Лола. – Иди спать, а то мать ругаться будет.

Обычно в ответ на это Мурод начинал ныть, уверяя, что ему хватит одного раза, и ничего ведь с ней не случится, если она ему даст, а он все сделает так, что она будет довольна, и пусть не обращает внимания, что он ростом невысокий, ведь член у него стоит хорошо, крепко... Мурод называл вещи своими именами с особенной отчетливостью, присущей человеку, который говорит на неродном языке.

– Да пошел ты!.. – рассердилась Лола. – Дай пройти, придурок недоделанный!

В конце концов, сколько можно выслушивать его хамские требования со снисходительным терпением! Раз не поставила его на место, другой, третий – вот он и наглет с каждым днем. Вернее, с каждым вечером, когда встречает ее у двери с одной и той же опостылевшей претензией.

Обычно Мурод тащился за нею в подъезд, повторяя свое дурацкое «хочу» снова и снова до тех пор, пока она не захлопывала у него перед носом дверь квартиры. Но сегодня он был настроен иначе, не зря Лоле сразу показалось, что глаза у него сверкают как-то слишком возбужденно.

– Кого недоделанный? Меня недоделанный? – прошипел он и схватил Лолу за руки так крепко, что она вскрикнула. – Я тебе покажу, как обзывать, сука! Всем даешь – мне не даешь, целка себя показываешь?

В другой раз Лола, может быть, засмеялась бы над этими его словами – очень уж возмущенно он требовал ее благосклонности, как будто отстаивал свои законные права! – но сейчас ей было не до смеха. Мурод сжимал ее запястья так, что у нее чуть искры из глаз не сыпались, и в его голосе вместо обычных интонаций капризного переростка слышалась настоящая угроза. Да и похоже было, что сегодня он не обкурился, как обычно, анашой, а принял что-нибудь покрепче – героин, скорее всего.

– Мурод, я устала на работе, – стараясь, чтобы голос звучал без дрожи, сказала Лола. – Пусти, я спать пойду.

– Ты со мной спать пойдешь, – все с той же зловещей, шипящей интонацией заявил он. – Ты теперь всегда со мной будешь спать, когда я тебе скажу.

Черт его знает, что такое с ним произошло, отчего он стал таким решительным! Может, просто захотел наконец самоутвердиться, настояв на своем, и даже, скорее всего, именно это. Но ей-то какая разница, что с ним произошло? Вырваться бы поскорее...

– Открывай дверь! – скомандовал Мурод.

– Как же я открою? – вкрадчиво возразила Лола. – Ты меня за руки держишь, я ни ключ не могу достать, ни даже в подъезд войти. Отпусти, Мурод, я ключ достану...

Лола надеялась, что, как только он ее отпустит, она успеет заскочить в подъезд и захлопнуть дверь. А в углу за дверью она недавно спрятала железную палку, которую можно будет вставить в дверную ручку, чтобы успеть вбежать в свою квартиру прежде, чем Мурод все-таки ворвется в подъезд.

«Опять стекла перебьет», – с мгновенной тоской подумала она, представляя себе все его действия в их унылой последовательности.

Но с разбитыми стеклами так или иначе приходилось мириться, и хорошо бы это оказалось единственной неприятностью сегодняшнего вечера.

– Думаешь, дурак, да? – хмыкнул Мурод. – Я тебя отпущу – ты опять убежишь, да? Нет... – протянул он с той самодовольной интонацией, которая присуща невменяемым людям, когда они восхищаются своей сообразительностью. – Ты сегодня со мной будешь спать, я сказал!

И вдруг, одной рукой по-прежнему держа Лолу за запястье, он быстро сунул другую руку в карман своих широких, поблескивающих дешевой индийской тканью штанов. Через секунду Лола почувствовала, как что-то уперлось ей в бок – остро и злобно уперлось, так, что мурашки пробежали у нее по всему телу.

– Бье, бье! – подтолкнул ее Мурод. И повторил по-русски, как будто она не знала таджикского: – Пош-шла! Будешь вырываться, сразу ножиком порежу, поняла, да?

Что уж тут было непонятного?! И что уж тут было удивительного? Когда-нибудь даже такое ничтожество, как Мурод, должно было сообразить, что вся ее независимость продлится ровно до той минуты, пока ей хорошенько не пригрозят...

Стараясь двигаться как можно медленнее – хотя теперь-то уже понятно было, что, чему быть, того не миновать, – Лола пошла к подъезду. Мурод тянул ее за руку и одновременно подталкивал приставленным к боку ножом, и нож был такой острый, что царапал Лоле кожу – значит, уже разрезал платье.

Она всегда знала: если произойдет что-нибудь подобное, то кричать ей не надо. То есть просто бесполезно кричать, все равно никто не бросится на помощь женщине, которая ходит вечерами по улицам одна. Но только теперь, чувствуя, как нож подгоняюще упирается ей в бок, Лола поняла это как-то... по-настоящему. Что звать некого, просить не о чем и надеяться на то, что этого все-таки не произойдет, бесполезно. Противно только было, что произойдет это

именно с Муродом, которого у них в классе никто не воспринимал всерьез и про которого мама всегда говорила, что такой никчемный сын послан Хасият в наказание за склочный характер.

Но, в конце концов, какая разница, с кем это произойдет в первый раз? Мурод, по крайней мере, не убьет... А тот, кто следующим захочет предъявить на нее права, может и убить – запросто. Почему же не убить, если точно знаешь, что тебе за это ничего не будет? Все достоевские вопросы решились быстро, просто и никаких особенных сомнений больше ни у кого не вызывали. Да и были ли они вообще когда-нибудь, эти вопросы, и сам Достоевский – был ли?.. Даже Лоле казалось теперь призрачным его существование, а Мурод, конечно, и прежде о нем не догадывался. И тот, кто будет после него следующим, наверняка не догадывается тоже.

– Ты все равно не сможешь, – сказала Лола. – Ты обкуренный, обдолбанный – у тебя не встанет.

Она сама не понимала, как вырвались у нее эти, явно для него оскорбительные, слова и, главное, зачем они вырвались! Скорее всего, это были просто остатки прежней... не роскоши, конечно, но хотя бы независимости, той самой, которой она с таким безнадежным упорством дорожила.

– Су-ука! – с присвистом завизжал Мурод. – Какой сука ты!

При этом он то ли случайно, от собственного вопля, то ли вполне сознательно дернул рукой, в которой держал нож. Лезвие скользнуло по Лолиному боку, и это было уже не злое покалывание, а резкая, режущая боль, от которой она вскрикнула – непроизвольно, бесцельно, забыв о том, что это совершенно бесполезно...

Что произошло сразу же после ее вскрика, Лола не поняла. Она вдруг почувствовала, что рука Мурода разжалась, потом – то есть не потом, а вот именно сразу же – что он уже не дышит жадно и тухло прямо ей в лицо, а кричит, но не рядом, а чуть в стороне и словно бы где-то внизу. Потом она услышала, как зазвенел по асфальту нож, и увидела, что Мурод тоже лежит на асфальте и снизу вверх изумленно смотрит на нее, громко и отчетливо матерясь. Еще через секунду Лола поняла, что и взгляд, и мат обращены вовсе не к ней. Стремительно обернувшись, она различила у себя за спиной еще одну фигуру – мужскую, высокую – и непроизвольно отшатнулась.

– Видишь, как ты девушку напугал, – услышала Лола. – От собственной тени шарахается.

– Это вы, что ли, моя тень? – поинтересовалась она.

Мужчина засмеялся и сказал:

– Нет, все-таки, видно, не очень-то он вас и напугал. Может, зря я ему помешал?

– Это уж вам решать, зря или не зря, – пожала плечами Лола. – Я же не знаю, зачем вы вдруг взялись ему мешать.

– Ну и характер у девушки! – снова засмеялся ее неожиданный собеседник. И тут же рывкнул: – К-куда? – Теперь Лола различала его отчетливее, поэтому заметила, что одной ногой он наступил на валяющийся на асфальте нож, а другой пнул подбирающегося к ножу Мурода. – Кинжал не надо трогать, ты с ним обращаться не умеешь, – назидательно добавил он, подбирая нож. – И вообще, вали-ка ты отсюда, как тебя – придурок недоделанный?

Он снова засмеялся. Лица его Лола разглядеть не могла – все-таки свет звезд был ведь ее выдумкой, – но смех у него был необычный. То есть, может быть, и обычный, но просто Лола давно уже не слышала такого беспечного смеха, да еще в обстоятельствах, которые явно не располагали к беспечности.

– Вали, вали, – повторил он, для верности еще раз подтолкнув ногой Мурода, который, впрочем, и так уже отползал в сторону, только что не поскуливая. – Вы в этом доме живете? – обратился этот смешливый человек к Лоле.

– А что? – настороженно переспросила она. – Собираетесь ко мне в гости?

– Ну уж! Я без приглашения в гости не хожу, – возразил он. – Я в том смысле, что про соседку вашу не подскажите? Которая на втором этаже живет, во-он там, где форточка открыта.

– Как форточка открыта? – вздрогнула Лола. – Вот дура я!

– Почему же именно вы дура? – удивился он. – Это разве ваше окно?

– Вы почему в темноте один ходите? – вместо ответа спросила Лола. – Вас могут убить, вы разве не знаете?

– А вас не могут?

– Могут любого, – кивнула Лола. – Но военного с большим удовольствием.

Еще пока он разбирался с Муродом, она разглядела и военную форму, и шеврон погранвойск на рукаве его гимнастерки.

– Начальству моему хотите наступать? – хмыкнул он. И добавил: – Ну давайте, стучите, если вам не стыдно!

В его голосе слышались такие дворовые, такие подначивающие нотки, что Лола не выдержала и тоже засмеялась.

– Так-то лучше, – удовлетворенно заметил ночной военный. – А то кидаетесь на людей, как еж какой-то.

– Разве ежи на людей кидаются? – сквозь смех спросила Лола. – Вы откуда такой взялись, а?

– Меня мама учила, что с девушками на такие темы разговаривать неприлично, – важно заявил он. – Тем более с такими восточными красавицами, как вы. Или не очень-то вы восточная красавица, а? В темноте толком не разглядеть, но язычок для трепетной розы Шираза уж больно острый.

Лола хотела сказать что-нибудь ехидное по поводу того, красавица она или нет, но вместо этого сказала совсем другое... И даже не сказала, а глупо, как девчонка, закричала:

– Ой, отойди, посмотри!..

Собеседник отреагировал немедленно, хотя и совсем не так, как она призывала. Ни отходить, ни смотреть он не стал, а вместо этого сделал какое-то стремительное, хлесткое движение – то ли разворот, то ли рывок, то ли удар, то ли все это одновременно. Мурод дико заорал и снова упал на асфальт – теперь уже не упруго, как в первый раз, а глухо, как мешок.

– Как ты его разглядела? – удивленно спросил военный. – Вот непонятливый какой! Сказал же ему... Ну, пусть теперь на себя обижается.

Он произнес это сквозь зубы; Лоле показалось, что он поморщился.

– Я его не разглядела, – словно извиняясь, объяснила она. – Я просто... как-то поняла, что он хочет сделать. У меня так бывает. – И, приглядевшись, быстро спросила: – Что у вас с рукой?

– По ножу провел, – немного смущенно ответил военный. – И ведь уже отобрал один! Он их что, мешками с собой носит?

При этих его словах Лола почувствовала, что и у нее заныл бок, разрезанный еще первым Муродовым ножом; от волнения она об этом просто забыла.

– Пойдемте, – сказала она. – Надо вашу руку перебинтовать.

– Напросился все-таки в гости, – с явно притворным раскаянием вздохнул ее хоть и непростительный, но очень кстати появившийся защитник. – Ладно, я ненадолго, не волнуйтесь.

Присмотревшись к нему еще внимательнее, Лола поняла, что он совсем молодой – лет двадцати с небольшим, пожалуй. Просто он был высокий и широкоплечий, потому она не определила этого сразу.

– А вы его не убили? – взглянув на неподвижно лежащего Мурода, опасливо спросила она.

– Обижаете! – хмыкнул парень и деловито поинтересовался: – А что, надо было убить? Он вам вообще-то кто? Вы с ним так по-домашнему обсуждали, встанет у него или не встанет, что я и вмешиваться не хотел.

– Да никто, – сердито ответила Лола. – Придурок недоделанный, вы же, кажется, слышали. Ну, еще – бывший одноклассник.

– Ничего ему не сделается, полежит немного и очухается, – успокоил военный. – Просто болевой шок. А ночи же теплые, не замерзнет.

Железную палку в дверную ручку Лола все-таки вставила. Неизвестно ведь, как поведет себя Мурод, когда очухается. Да и без Мурода хватает тех, кого тянет на подвиги после первой же дозы анаши. Увидев, как старательно она закрепляет железку, ее спутник хмыкнул:

– Думаете, поможет?

– Навсегда нет, но на ночь, может, и поможет, – ответила Лола. – Проходите, проходите, а то кровью истечете, – добавила она.

– Да прям уж! – засмеялся он. – Тоже мне, смертельная рана. Но, все равно спасибо.

Каждый раз, когда Лола входила в квартиру, еще даже до того как включала свет – только переступала порог, только погружалась в знакомое, любимое пространство, – ее охватывало чувство защищенности и покоя. Она признавала обманчивость этого чувства, но его убаюкивающая сладость была сильнее того, что говорил разум. А ее усталость от того, во что превратилась жизнь, была еще сильнее.

– Посидите, пожалуйста, в комнате, – сказала она, сразу проходя на кухню. – Сейчас я воду согрею, вас перевяжу, а потом поужинаем.

– За что люблю Восток, – заявил ее спутник, – так это за гостеприимство. Привели человека с улицы, как зовут, не знаете, а ужинать – пожалуйста. Матвей меня зовут, – представился он, стоя на пороге тесной кухоньки.

– А меня Лола, – не оборачиваясь, потому что зажигала конфорку под большой кастрюлей с водой и переливала часть воды в маленькую кастрюльку, чтобы поскорее согрелась, ответила она. – Сейчас я вас перевяжу, буквально через минуту.

– Я и сам могу, – сказал Матвей. – Вы мне только бинт дайте и что-нибудь вроде йода, если есть.

– Давайте руку, – велела Лола. – Сначала помоем, а потом перевяжем.

Он послушно подошел к раковине, коротко вздрогнул, когда Лола начала лить воду ему на руку – все-таки порез на ладони был довольно глубокий, – потом спросил виноватым тоном:

– Может, не надо полотенце пачкать?

– Вы бы лучше о себе подумали, а не о полотенце. – Лола обернула его руку белой льняной салфеткой. – Что начальству скажете?

– Что ежевикой укололся, – улыбнулся он. – Вон у вас ежевики сколько возле дома. Скажу, ягоды воровал.

Он был очень легкий человек, с ним было так же спокойно, как спокойно было в квартире одной, это Лола определила мгновенно. И даже еще спокойнее с ним было, чем одной, потому что спокойствие ее одиночества давно ведь было только иллюзией, а от Матвея просто физически исходила какая-то ненавязчивая уверенность, из-за которой и возникало чувство защищенности.

Впрочем, может быть, и это чувство было иллюзорным; у Лолы не было сейчас времени в этом разбираться.

– А теперь пойдемте в комнату, – сказала она. – Бинт у меня в комодке и йод тоже.

– Ух ты! – сказал Матвей, останавливаясь в дверях комнаты. – Вот это да!

Лола выдвинула ящик комодка и незаметно улыбнулась. Папина библиотека производила ошеломляющее впечатление на всех, кто видел ее впервые. Когда-то все друзья читали эти книжки, и у каждого первая реакция была именно такая – изумление.

– И Чехов синий, и Толстой коричневый, – восхищенно произнес Матвей. – Ничего себе роза Ширази!

– Еще Некрасов цвета старой слоновой кости и черный с красным Шекспир, – насмешливо добавила Лола. – А что вас так удивляет? Вы думали, я не умею читать? Давайте руку.

– Извините, – смутился он. – Я не думал, что не умеете. Просто я здесь ни у кого вообще ни одной книжки не видел, а тем более полных собраний.

– Много вы здесь могли видеть! – фыркнула Лола. – Где, интересно, вы хотели увидеть книжки, в кишлаке, что ли? Вы же в горах где-нибудь служите, наверное.

Она осторожно полила йодом его ладонь – не в рану, а вокруг, как мама когда-то учила, – и быстро перебинтовала ему руку.

– Я совсем не хотел вас обидеть, – повторил Матвей. – Я правда не ожидал, потому и ляпнул. У нас дома такой же Толстой, и Чехов тоже такой, с письмами. И Шекспир, кажется, именно черный с красным. Шекспир у нас в суперобложках, поэтому я не помню, – улыбнулся он.

– Да-да... – пробормотала Лола. – Вы посмотрите пока книжки, я сейчас...

Голова у нее закружилась так сразу и так сильно, что мгновенно стало не до Толстого и не до черного с красным Шекспира. И бок заболел тоже мгновенно, как будто Мурод провел по нему ножом не полчаса назад, а только сейчас.

«Не здесь же раздеваться, – вяло подумала она. – Не при нем же».

Держа в руках жестяную коробку с лекарствами, Лола направилась к двери. Вода, наверное, уже согрелась, и надо было взять кастрюлю, отнести ее в ванную, снять платье, посмотреть, что там на боку...

На кухне она прислонилась к стене, потом медленно съехала на пол, хотела поставить коробку с лекарствами рядом с собою, но вместо этого выронила ее из ставших какими-то воздушными рук и под жестяной грохот удивленно подумала, снизу глядя на расплывающиеся очертания кухонного стола: «И почему говорят, что руки ватными становятся? Никакими не ватными – воздушными...»

Глава 2

– ... восточные штучки дурацкие! – услышала Лола прежде, чем открыла глаза.

Голос у говорящего был сердитый. И тут же она почувствовала, как целый сноп холодных брызг обрушился ей прямо на лицо! Это было так неожиданно, что она чихнула и села так резко, как будто под плечи ее толкнула тугая пружина.

– Вы что?! – воскликнула Лола. – Вы... зачем?

– Затем, что душой не надо быть, – тем же сердитым голосом ответил Матвей; от неожиданности она сразу вспомнила, что его зовут Матвей, хотя в первую секунду посмотрела на него с недоумением. – Ведешь себя как дура из гарема, так носи хотя бы паранджу, чтоб понятно было, чего от тебя ожидать. А то – Некрасов цвета старой слоновой кости! – передразнил он.

– Вы почему так со мной разговариваете? – стараясь изобразить возмущение, спросила Лола.

– А как с тобой разговаривать? Сама вся в кровище, а царапины какие-то хватаешься перевязывать! Ты бы еще ужин побежала готовить. Как же, мужчина кушать хочет, первое дело его обслужить!

– Никто тебя не собирался обслуживать, – таким же, как у него, сердитым тоном ответила Лола. – Выметайся откуда пришел, и нечего меня тут передразнивать!

– Теперь фиг ты меня выгонишь, – невозмутимо заметил Матвей. – Тебе, может, в больницу надо. Одна пешком потопает или одноклассника возьмешь сопровождающим?

– Да уж, наверное, ты меня на руках понесешь, – сообразив, что лежит она не на полу в кухне, а на диване в комнате, сказала Лола.

И, не выдержав, улыбнулась. Глаза у Матвея были сердитые и веселые одновременно, к тому же они были зеленые, и, глядя в них, совсем не хотелось сердиться, а хотелось, наоборот, попросить, чтобы он перевязал ее, уложил в постель, накрыл одеялом, согрел чаю с медом и никуда не уходил.

Но, конечно, ни о чем таком просить она его не стала. Хотя не похоже было, что он сильно удивился бы, если бы и попросила.

– Спасибо, – виновато сказала Лола. – Я, честное слово, не специально, а просто забыла про это совсем. Не сердись!

– Это ты не сердись, – наконец улыбнулся Матвей. – Платье-то разорвать пришлось.

– Ладно, – вздохнула она. – Все равно оно уже разрезанное было.

Говоря это, она быстро взглянула на свой бок, к которому была приложена белая салфетка, которой она только что вытирала Матвею руку. То есть бывшая белая, потому что теперь она была вся в пятнах крови, то ли его, то ли ее собственной.

– Вообще-то ничего страшного, – сказал Матвей. – Такая же царапина, как у меня. Просто ты ведь барышня все-таки, – смешно объяснил он. – Поэтому у тебя реакция более... трепетная.

– Ну и хорошо, раз царапина. – Лола опустила ноги на пол. – Я ее сама перевяжу, а потом мы все-таки поужинаем.

– Давай, трепетная барышня, – кивнул Матвей. – Не буду тебя смущать.

Что ни говори, а платья было жалко. Оно было шелковое, легкое, как цветы на яблоне. Лола чуть не заплакала, когда бросила его, разорванное и перемазанное кровью, в тазик в ванной.

Сейчас, вечером, вода из крана, конечно, уже не шла, поэтому мылась она, поливая себе из ковшика. Обмотавшись вокруг талии бинтом, Лола надела другое платье – тоже шелковое, но таджикское, черное, в несимметричных белых полосках – и вышла из ванной.

– Может, ты легла бы все-таки? – Матвей зашел к ней на кухню совсем неслышно. – Не сильно-то я и голодный.

– Зато я сильно, – возразила Лола. – Я же после работы.

– А где ты работаешь? – тут же спросил он.

– В Оперном театре.

– Ух ты! – восхитился Матвей. – Так ты, что ли, певица?

– По-твоему, в Оперном театре одни певицы работают? – засмеялась она. – Он вообще-то Театр оперы и балета, так что балерины тоже есть. Но я не певица и не балерина, а просто бутафорша. А ты мне не мешай, пожалуйста, посиди в комнате.

– Я и не собирался мешать, – обиделся Матвей. – Может, даже помог бы. На подсобных работах.

– Все уже готово, – объяснила Лола. – В плов только рис осталось положить, и он быстро сварится, потому что рис афганский. А салат я сама быстрее сделаю, чем с твоей помощью.

– Ну, как хочешь, – кивнул Матвей и, выходя из кухни, не преминул поддеть: – Восток – дело тонкое.

Салат Лола приготовила азиатский – с помидорами, огурцами, разноцветным перцем, сладким луком, с целой горой пахучей кинзы – и, тоже по-азиатски, полила его темным хлопковым маслом. Как ни быстро готовился разваристый афганский рис, который она перебрала и помыла еще утром, перед работой, но плов, конечно, не мог быть готов одновременно с салатом. Поэтому и подавать на стол она стала по-азиатски: сначала зелень и лепешки, а потом горячее.

– И как это у вас умеют! – удивленно сказал Матвей, когда она принесла в комнату огромную касу с благоухающим салатом. – Только в дом вошли, раз-два – и стол накрыт.

– Да ничего особенного ведь не накрыто, – засмеялась Лола, доставая из буфета пеструю скатерть. – Обыкновенный салат.

– Ну, все-таки не обыкновенный, – возразил он. – Пахнет так... Как в праздник.

– А у меня сегодня... Ну, не то чтобы праздник, но все-таки день рождения, – вдруг сказала Лола. – Я потому все и приготовила.

Она и сама не поняла, как сорвались с языка эти слова. Она вовсе не собиралась сообщать об этом Матвею. Ей казалось, если она вот сейчас, после всего произошедшего, скажет про день рождения, то в этом будет что-то... жалкое, что ли, или непонятно какое еще. В общем, что-то неловкое. Но вот сказала же! Видно, та легкость, которую она сразу в нем почувствовала, была все-таки не иллюзорной.

– Ну вот, а я без подарка, – расстроился Матвей.

– Ты же не знал, – улыбнулась Лола. – Так что не смущайся. Ешь пока салат с лепешкой, потом плов принесу. Может, – помедлив, спросила она, – вина выпьем?

– Конечно, – кивнул он. И догадливо добавил: – Ты тоже не смущайся. Я-то мужчина не азиатский, в обморок не упаду, если ты вина хлебнешь, и с кулаками на тебя не наброшусь. Можешь даже вусмерть напиться, – великодушно предложил он. – А что, стресс-то у тебя был приличный!

«У меня таких стрессов – как снега зимой. Как в Москве твоей снега, конечно», – подумала Лола.

Но тут же старательно отогнала от себя эти мысли. Ничего в них хорошего не было, сплошной мрак, а ей сейчас совсем не хотелось мрака. Хотя бы на ближайший час. Напиться вусмерть, правда, тоже не хотелось – просто не привыкла напиваться, ни от горя, ни от радости, – но графинчик с вином она из буфета все же достала и спросила:

– Домашнее будешь пить? Оно сладкое.

– Я всякое буду, – ответил Матвей. – Отвык, правда, за два года. Тут же у вас больше по наркоте ударяют, чем по алкоголю. Великое дело традиция, – насмешливо добавил он. –

Вот вино пророк Мухаммед запретил употреблять, народ и воздерживается, вина приличного днем с огнем не найдешь, а насчет травки не оставил указаний, так даже дети курят лет с пяти.

– И неправда, – обиделась Лола. – У нас сладкое вино очень хорошее, не хуже, чем во Франции. Даже лучше, наверное, потому что климат жарче. Мы вино всем двором делали. Видел, кишмиш во дворе растет? Из него и делали каждую осень. Раньше, – уточнила она.

– Ты села бы уже, а, именинница? – сказал Матвей, наливая вино в бокалы с таким же, как на графинчике, морозным хрустальным узором. – Скатерть постелила, закуску поставила, вино на столе – садись, выпьем наконец за твое здоровье и счастье.

– Особенно за счастье, – улыбнулась Лола. – Что ж, спасибо за пожелания. – Сладкое вино, сделанное из дворового винограда, стояло в буфете уже неизвестно который год, но не портилось, а только становилось лучше. – А зачем тебе моя соседка нужна? – напомнила она, отпив два глотка.

– До дна, до дна, – потребовал Матвей. – Не хочешь вусмерть, не напивайся, но до дна положено. За собственное-то здоровье! А соседке я деньги должен передать. Зое Петровне Гордеевой.

– Ой, так ты, значит, с Людкой вместе служишь! – наконец сообразила Лола; до сих пор за всеми волнениями у нее просто не было времени догадаться о таком простом обстоятельстве. – Ну, как она там у вас?

– Там у нас она прекрасно, – пожал плечами Матвей. – Она же не в рейды ходит, а бухгалтерию ведет и вообще с бумажками возится – что ей делается? А вот вы здесь у себя, по моему, не очень.

– Ну да, – вздохнула Лола. – Тетю Зою в больницу вчера положили. С гипертоническим кризом. Еще брать не хотели, – сердито добавила она. – Говорили: не insult же! А форточку у нее закрыть я забыла.

– Завтра закроешь, авось не влезут, – успокоил ее Матвей. – Вон решетки какие, как в зоопарке. Что у тебя, что у нее.

– Только хищники не внутри, а снаружи, – усмехнулась Лола. – Но тетю Зою ведь теперь не скоро выпишут. Все-таки подлечат немножко, раз уж положили.

– Я деньги тебе оставлю. А то я же завтра обратно на заставу отбываю. Мы с начальником на два дня только приехали, приборы ночного видения купить. Инкассатора взяли, вот деньги и появились, – объяснил Матвей.

– Как – инкассатора взяли? – удивилась Лола. – И что, можно вот так спокойно тратить... такие деньги?

– Не все, конечно, – пожал плечами он. И вдруг догадался: – А ты что, подумала, мы того инкассатора взяли, который выручку из магазина вез? – Он расхохотался так, что вино заплескалось в бокале. – Мы же бандитского, ну, который в Афганистан деньги за наркоту носит! Часть денег нам на техническое оснащение и оставили. А то у них ведь, у наркобаронов, только тарелочки с неба не хватает, а у нас нету ни фига, – объяснил он.

– Как же ты к своему начальнику собирался возвращаться? – спросила Лола. – Ночью через весь город, да еще русский, да еще в форме! Здесь тебе не Москва, знаешь ли.

– Да я вообще-то и не собирался сегодня возвращаться, – ответил Матвей. – Замотался днем, к вечеру только сюда выбрался. Думал, у Зои Петровны этой переночую, не выгонит же она дочкиного сослуживца.

– Конечно, не выгнала бы, – кивнула Лола. – Но и я не выгоню, можешь не волноваться.

– Я и не волнуюсь, – улыбнулся он. – Ты барышня самоотверженная – перевязываешь защитника родины, пловом угощаешь...

– Ладно-ладно, без намеков, про плов я и так помню, – засмеялась Лола. – Через десять минут будет готов. Каждый сорт риса требует своего времени, своей соли и своей воды, – объ-

яснила она. – Моя мама сырую рисинку на зуб пробовала и с точностью до минуты все это определяла.

– А где она сейчас? – спросил Матвей.

Лола не ответила, и он не стал переспрашивать.

То ли вино настоялось за несколько лет до немыслимой крепости, то ли просто она, тоже впервые за несколько лет, наконец ослабила напряжение, в котором жила постоянно, – но, выпив до дна первый бокал и до половины второй, Лола почувствовала, что голова у нее приятно кружится, а перед глазами летают легкие золотые искорки. В их неожиданном праздничном сверкании все выглядело необыкновенным и прекрасным – и яркий салат на узорчатой скатерти, и хрустальный графин, и подрумяненная лепешка, от которой Матвей отламывал большие куски... Есть он хотел зверски, это сразу было видно, но точно так же было видно, что воспитание сидит в нем все-таки глубже, чем может проникнуть даже самый сильный голод.

Только теперь, расслабившись, Лола наконец разглядела его получше. Да, собственно, и разглядывать было особенно не надо: что парень красавец, понятно было сразу. Одни зеленющие, как молодая трава, глаза чего стоили!

– Загорел ты сильно, – чуть заплетающимся языком сказала Лола. – Прямо как таджик.

– А может, я таджик и есть, – засмеялся он. – А что, памирский таджик, скажешь, не похож? У них же у всех глаза зеленые, вот как у меня. Или как у тебя, кстати. У вас тут на Памире, говорят, воины Александра Македонского в свое время напали, потому и глаза у народа светлые. Так что я за местного схожу без вопросов.

– Пока говорить на начинаешь, – заметила Лола. – Тут уж тебя с местным не спутаешь: говоришь по-московски.

– А ты откуда знаешь, как по-московски говорят? – хмыкнул он.

– Приходилось слышать. Как же тебя мама с папой в солдаты отпустили? – поинтересовалась она, кивнув на сержантские лычки на погонах его гимнастерки.

– А они и не отпускали. Я без спросу.

– Настоящим мужчиной хотел стать? – насмешливо спросила Лола.

– А я с самого начала настоящий был, – в тон ей ответил он. – Без дополнительной обработки.

– Тогда зачем?

– Зачем, зачем! Затем, что та жизнь, которую я вел, – та жизнь была не по мне, – сказал Матвей.

Вид у него при этих словах был серьезный, но в глазах плясали чертики.

Лола расхохоталась так, что выступили слезы, и золотые искорки, летающие перед глазами, превратились в целые озера веселого света.

– У тебя что, жена беременная? – отсмеявшись, спросила она. – Или светскую жизнь очень любит?

– Да-а, коричневого Толстого девушка читала! – Матвей покрутил головой и тоже улыбнулся.

– Экзамен окончен? – поинтересовалась Лола. – Можно плов подавать?

– Ой, можно!.. – простонал он. – Такой запах из кухни, что я сейчас сознание потеряю!

Плов она сварила не совсем обычный – с айвой, и только теперь, выкладывая на блюдо поверх риса и мяса желтые айвовые ломтики, засомневалась: а вдруг гостю не понравится такая экзотика?

Это круглое глиняное блюдо, которое любил папа, Лола не доставала из буфета лет уже, пожалуй, десять. Папа говорил, что краски, которым оно расписано – сияющая яркая лазурь и глубокая охра, – это и есть настоящий Восток: выжженная солнцем земля и невыцветающее жаркое небо.

Опасения насчет айвы оказались напрасны: Матвей набросился на плов так, что Лола еле успевала подкладывать ему на тарелку все новые порции.

– Ижвини... – пробормотал он с набитым ртом. – Я, понимаешь, ш утра не ел...

– Может, руками? – предложила Лола. Ей было так весело, как не бывало с самого детства. – Таджики ведь руками едят, так что этикет ты не нарушишь.

– Да я не умею просто, – отдышавшись, ответил он. – А то бы, конечно, руками ел. Правильный, я считаю, обычай!

– Ну, ешь, не отвлекайся, – сказала Лола. – Я чай заварю.

К тому времени, когда она внесла в комнату большой фарфоровый чайник с зеленым чаем и вазочку с абрикосовым вареньем, Матвей, кажется, наконец наелся. Он сидел, откинувшись на спинку дивана, и вид у него был совершенно умиротворенный.

– Хорошая все-таки вещь Восток, – сказал он. – Хотя, скажу тебе, развивает в мужчинах свинство.

– Не переживай, – успокоила Лола, – в тебе свинство вряд ли разовьется, так что, раз хозяйка подает, ешь и помогать не рвись. А если покурить хочешь, то кури, не стесняйся, – предложила она.

– Разве что кальян, – пробормотал он. – После такого-то плова! Но вообще-то я не курю.

– Спортсмен? – улыбнулась Лола.

– Непрофессиональный.

– А дерешься профессионально.

– Так ведь рукопашным боем занимался, – кивнул он. – Предполагал, что в жизни пригодится, и, как выяснилось, не ошибся. Я же группой специального назначения команду, приходится соответствовать.

– Но ты ведь не офицер, – удивилась Лола. – Как же ты можешь группой командовать?

– А уже представление послали. Дефицит кадров, – усмехнулся Матвей. – Так что, скорее всего, зачтут мне первый год службы как сборы и лейтенанта дадут. Я все-таки МГУ почти что закончил, и военная кафедра у нас была.

– А почему почти что?

– Я же тебе уже объяснил: читай коричневого Толстого. Ну, обрыдло мне все, понимаешь? До того дошел, что на «бумера», красавца, и то смотреть не мог.

– На что ты смотреть не мог? – не поняла Лола.

– На машину свою. На «БМВ» то есть.

– И где же она теперь?

– В Москве, где ей быть, – пожал плечами Матвей. – В гараже стоит. Ну что ты так на меня смотришь? Думаешь, я такой дурак, что за романтикой в армию подался?

– Не знаю... – медленно проговорила Лола. – На дурака ты не похож, конечно, но странно все это... Ты появился в моей жизни, как бог из машины. Поэтому я ничего про тебя понять не могу.

– Ладно я, а вот ты-то что здесь делаешь, в этом Душанбе? – спросил Матвей. – «Войну и мир» наизусть помнишь, про бога из машины тоже... Я и не знаю, кто это такой! За каким чертом ты здесь сидишь, а? Ждешь, пока одноклассник прирежет?

– Бог из машины – это персонаж античной трагедии, – сказала Лола. – Который появлялся в финале и разрешал все проблемы. А сижу я в этом Душанбе потому, что я здесь родилась и прожила двадцать семь лет. И сидеть мне больше негде.

– Это неправильно.

– Правильно или неправильно, но это реальность. Ты почему варенье не ешь? – спросила она. – Между прочим, довольно вкусное.

– Кто бы сомневался. Сама варила? – Лола кивнула. Матвей зачерпнул из вазочки полную ложку и отправил в рот. – Ух ты, с ядрышками! Говорю же, хорошее место Восток. Это ж

надо – косточку из абрикоса достать, разбить, ядрышко обратно засунуть, потом варенье так умудриться сварить, чтоб абрикосины с ядрышками целые были... Тонкое дело!

Лола вспомнила, как, когда она варила это варенье, слезы лились у нее по щекам, скапывались по носу и капали в большой медный таз, прямо на оранжевую пенку. Этим летом в театре не платили и обычную микроскопическую зарплату, денег не было совсем, продукты тоже кончились совсем – не осталось даже муки на самые примитивные, без ничего, лепешки, брать еду у тети Зои, которая норовила ее подкормить, было уже стыдно до обморока, но и есть хотелось тоже до обморока... Тогда она и обнаружила в глубине буфета, за стопкой салфеток, ситцевый мешочек с сахаром, стоявший там, наверное, лет сто. Сахар превратился в цельный, тверже мрамора, комок, и Лола долго растапливала его в тазу, чтобы получился сироп.

Вообще-то она никогда не варила варенье, тем более с ядрышками, но в тот день ей было так тоскливо и так хотелось вспомнить маму, что она провела целый день, колотя молотком по скользким урюковым косточкам.

Но рассказывать об этом Матвею она, конечно, не стала. Зачем об этом рассказывать – чтоб пожалел? Или чтобы, как капитан Грэй, увез в Москву на галиоте с алыми парусами?

«А на капитана Грэя он очень даже похож», – вдруг подумала Лола и невольно улыбнулась.

– Над чем смеемся? – тут же заметил он. – Ем много?

– Ты что? – испугалась Лола. – Ешь сколько хочешь, на здоровье! Сам же говоришь, я восточная женщина. Мне и нравится, когда мужчина ест.

– Что ж ты замуж не вышла? Вон готовишь как, язык откусить можно, – хмыкнул Матвей и тут же осекся: – Извини, совсем я что-то... От обжорства одурел! Не обижайся.

– На что обижаться? – пожала плечами Лола. – В Москве, что ли, все, которые хорошо готовят, замужем? Не нашлось, кто бы взял. Да я, если честно, не сильно-то и искала. Вон, Мурод на мне жениться не прочь, – улыбнулась она. – Хорошую таджичку за такого не отдадут, да он и на плохую не заработал, чтобы калым заплатить. Значит, остается только на русской бесплатно жениться. А, кроме меня, поблизости русских не осталось. Тетя Зоя старая уже, Люда у вас на заставе...

– А почему тебя Лола зовут, если ты русская?

– Вообще-то и не совсем русская, и не совсем Лола, – объяснила она. – По паспорту Елена Васильевна. Папа у меня был русский, а мама таджичка. Она Лолой называла, и мне так привычнее.

– Давно они умерли? – помолчав, спросил Матвей.

– Папа давно, а мама не очень, – коротко ответила Лола.

Она видела, что он хочет расспросить об этом подробнее. Но, наверное, и он видел, что она не хочет об этом говорить, и не спросил больше ничего.

– Я тебе в спальне постелю, – сказала Лола. – И окно открою. Я, когда решетки ставила, попросила так окна переделать, чтобы вовнутрь открывались. У нас ведь с закрытыми окнами невозможно спать, – объяснила она. – Летом мы вообще всегда на улице спали. Там садик есть под окнами, он раньше наш был, а тот, что с другой стороны, тети-Зоин. Но они не официально наши были – просто каждый себе участок огородил, посадил что-то... В общем, теперь это все не наше. Но сейчас уже прохладно, тебе и в доме жарко не будет.

– А что это, кстати, твоего одноклассника не слышно? – вспомнил Матвей. – Давно уже должен был очухаться. Может, сходить глянуть? Как бы окна со злости не перебил.

– Он это периодически делает, – усмехнулась Лола. – А сейчас, скорее всего, просто тебя испугался. Сквозь занавески же видно, что я не одна. Он вообще-то трусливый, как шакал. Героина сегодня перебрал, вот и геройствовал.

– Лен, – почти жалобно сказал Матвей, – уезжала бы ты отсюда, а? Нет, я понимаю, советовать каждый молодец. Но чего же ты здесь дождешься-то? Пока этот придурок в один прекрасный вечер последние мозги прокурит, да и... – Он махнул рукой.

– Я вечерами не хожу, – холодно произнесла Лола. – Если задерживаюсь, то в театре ночую.

– Но сегодня шла же.

– Это случайность, – еще холоднее ответила она.

Сегодня она пошла вечером домой потому, что не хотелось оставаться в день рождения – вернее, в ночь рождения – одной в огромном, пугающе пустом театре. Конечно, можно было посидеть с охранником, но не хотелось и этого. К тому же сегодня дежурил Саид, а он всегда смотрел на нее таким сально-голодным взглядом, что его общество было немногим приятнее, чем общество Мурода.

У них дома никогда не было весело, но при папе ее день рождения праздновали всегда. Хоть и без веселья, но как-то очень... нежно праздновали, трепетно – так, как папе вообще было свойственно жить. И после папиной смерти мама неукоснительно соблюдала эту традицию, хотя Лола знала, что в семье ее родителей никогда не помнили о таких пустяках, как дни рождения дочерей. Характер у мамы был скорее суровый, чем нежный, но свою единственную дочь она любила самозабвенно.

Только поэтому Лола продолжала отмечать свой день рождения, даже когда осталась одна, и когда разъехались последние подружки, и когда этот день, как и вся жизнь, перестал быть праздником.

Объяснять все это Матвею было бы слишком долго и, главное, просто неприлично. Видно же: парень порядочный – вот-вот предложит перебраться в Москву, прямо в квартиру его родителей, и кататься на его «бумере». Представив себе все это, Лола едва сдержала улыбку.

– В ванной два ведра, – сказала она. – В одном теплая вода, в другом холодная. Можешь оба выливать, я завтра еще наберу. Воду утром дают. И вообще, – добавила она, – жалеть меня не надо. Это я в твоём обществе расслабилась и стала белая и пушистая, а в принципе у меня стальные нервы и ледяное нутро. Так что беспокоиться обо мне незачем.

– Не преувеличивай, – усмехнулся Матвей. – Глаза у тебя и правда довольно... ледовитые, но насчет стального, или какого там, нутра – это ты не подумав сказала. В местных условиях, кроме нутра, нужна элементарная физическая сила, а ее у тебя нет. Ладно, пойду мыться. – Он поднялся с дивана. – Что толку в таких разговорах? Свои мозги в чужую голову не вставишь.

– Вот и нечего время на это терять. Полотенце на крючке, – в спину ему сказала Лола. – Твое – которое белое.

– И пушистое, – хмыкнул Матвей.

Пока он, пофыркивая, плескался в ванной, Лола убрала с кровати свою постель и постелила чистую, хрустящую крахмалом. Мама всегда подсинивала и крахмалила постельное белье – говорила, что без этого оно как будто и не стирано. Лола такими изысками не занималась, но мама ведь умерла всего год назад, и накрахмаленное ею белье еще было свежим.

Она зажгла настольную лампу у широкой, с блестящими никелированными шишечками кровати, потом, прикрыв за собою дверь спальни, вышла в переднюю комнату и села за стол в ожидании Матвея.

– Я окно пока не открывала, – сказала она, когда он появился в дверях; пятна воды темнели на его гимнастерке. – Может, ты еще почитать перед сном захочешь – мошки на свет налетят. Потом, когда лампу выключишь, откроешь.

– Ладно, – кивнул он. – А...

– А со стола я сама уберу. Ты же в Азии, – напомнила Лола. – Здесь свои порядки. Вот вернешься в Москву, будешь жить по своим.

– Мысли читаешь! – Он удивленно покрутил головой. – А также и стремления.

– Бывает иногда, – кивнула она. – Но вообще-то стремление помочь несчастной женщине написано у тебя на лбу такими крупными буквами, что слепой бы не прочитал. Во сколько тебя разбудить?

– В пять. Только будить меня не надо, я сам проснусь. Спокойной ночи, ясновидящая, – улыбнулся Матвей.

Он взял с полки первый том Толстого и скрылся в спальне, а Лола принялась составлять в стопку тарелки и пиалы. Но тут из спальни раздался такой возглас, что она бросила свое занятие и распахнула дверь.

«Может, я окно случайно открыла и кто-нибудь в комнату влетел?» – глупо мелькнуло у нее в голове.

– Ты что? – спросила Лола, заглядывая в спальню. – Здесь мышь? В смысле, летучая, – объяснила она. – Бывает, что они на свет залетают.

– Какая еще мышь! – махнул рукой Матвей. – И без мыши есть от чего рот открыть.

– А! – догадалась Лола. – Куколок моих увидел?

– Кто это тебе таких куколок подарил? – поинтересовался он.

– Никто не подарил. Я их сделала, – пожала плечами Лола.

– Нич-чего себе! – Восхищение светилось в его глазах ярким зеленым светом. – Да ты прям этот... папа Карло! Это что, автопортрет?

Он показал на куклу, стоящую у края полки; всех полок над кроватью было пять, а кукол на них – штук двадцать. Та, на которую указывал Матвей, в самом деле была похожа на Лолу. Волосы у нее были черные и прямые, глаза зеленые и длинные, а выражение лица – холодно-отстраненное.

– Не совсем, – ответила Лола. – Это безымянная красавица из гарема. В которую до смерти влюбился бедный юноша по имени Аль-Мутайям. Папа говорил, что была про это какая-то старинная пьеса, но она не сохранилась. Ну, и мы решили заново ее написать. Для кукольного спектакля.

– Почему для кукольного? – Восхищение сменилось в глазах Матвея вниманием.

– Потому что про такую любовь лучше кукольный спектакль делать, чем человеческий.

– Почему? – снова спросил он.

– Потому что естественнее, когда все это произносят куклы. Отстраненнее, – объяснила она. – В жизни ведь такой любви не бывает, а в куклах есть что-то невозможное.

– Интересный, наверное, спектакль получился, – сказал Матвей.

– Он вообще не получился. Режиссера убили, актеры разбежались, и все развалилось. Я этих кукол уже потом, так просто, сделала. На память о себе в юности, – усмехнулась она. – Аль-Мутайям – вот этот, видишь – на режиссера похож, который спектакль хотел ставить.

– Ты его что, любила, этого режиссера? – осторожно спросил Матвей.

– Никого я не любила. Но я себя с ними со всеми чувствовала человеком, и с режиссером этим, и с его актерами, а потом их не стало. И никого не стало. А вот этих кукол я к сказкам Андерсена делала, когда еще совсем маленькая была, – быстро отвернувшись от Аль-Мутайяма и его безымянной возлюбленной, показала она. – Вот Пастушка, вот Трубочист, а вот Снежная королева.

Воспоминание о том, как похожего на Аль-Мутайяма кукольного режиссера Тимура Сабирова убили за то, что он происходил из Тавильдары, а не из Куляба, или откуда там следовало происходить, было слишком тяжелым. А она давно уже приучила себя не предаваться тяжелым воспоминаниям, иначе не выдержать было реальных, нынешних тяжестей.

– Очень профессионально, – заметил Матвей. – Даже не скажешь, что ребенок делал.

– Ты-то откуда знаешь, профессионально или не профессионально? – насмешливо поинтересовалась Лола. – В университете этому учился или в погранвойсках?

– В университете я государственному управлению учился, – не обращая внимания на ее тон, ответил он. – Начальником хотел быть. А всяких таких штук, вроде твоих куколок, я у мамы на работе посмотрел. Она у меня искусствовед.

«У тебя же мама педагог, у тебя же папа пианист – какой ты, на фиг, танкист?» – мелькнули у Лолы в голове слова какой-то песенки.

Песенка была хоть и дурацкая, но смешная, и она улыбнулась. Впрочем, она, наверное, улыбнулась бы и без песенки. С Матвеем не хотелось быть настороженной, а хотелось болтать, что в голову взбредет, и показывать кукол, которых делала в детстве, и вспоминать, что говорил, уходя в армию, князь Андрей в «Войне и мире»...

– А вот этих я сравнительно недавно сделала, – сказала она, поворачиваясь к противоположной стене, на которой висело уже не пять, а целых семь полок с куклами. – Это мертвая Царевна в хрустальном гробу, а это Ветер, Месяц и Солнце.

Хрустальный гроб она сделала из кусочков прозрачного кварца. Он и при дневном свете был красивый, а при электрическом вообще сиял как бриллиант, и мертвая Царевна в нем выглядела хрупкой драгоценностью.

– А царевич Елисей где? – улыбнулся Матвей.

– В пути, наверное, – пожала плечами Лола. – Я его почему-то в этой композиции не представляю.

– Так, – вдруг сказал Матвей, и Лола взглянула на него с недоумением, потому что голос у него переменялся совершенно. – Так... А это кто?

– Это? – Она проследила за его взглядом. – Это фотография.

– На фотографии, на фотографии – кто?

Фотографий на стене висело несколько, и Лола не поняла, о какой он спрашивает таким неожиданно охрипшим голосом.

– Это папа на Памире в экспедиции, это мама у нас во дворе виноград собирает, – начала перечислять она. – Это я в первый класс иду. Это папа в детстве со своими родителями.

– Оч-чень интересно... – пробормотал Матвей. – Слушай, Лен, а как фамилия твоего папы?

– Ермолов. Василий Константинович Ермолов. А тебе зачем?

– Мама дорогая! – Он быстро провел рукой по темно-русым, коротко остриженным волосам и покрутил головой, как будто хотел избавиться от какого-то наваждения. – Да быть такого не может!

– Что значит – быть не может? – рассердилась Лола. – Какое тебе вообще дело до его фамилии?

– Да не до его, а до своей! – Матвей сел на край кровати, как будто его не держали ноги, и посмотрел на Лолу так, словно она мгновенно превратилась в привидение. – Это моя фамилия Ермолов, понятно?

Ей ничего не было понятно.

– Ну, значит, мы с тобой однофамильцы, – пожала плечами она. – Очень мило, но ничего особенного. Если бы моя фамилия была Чимша-Гималайская, я бы удивилась. А Ермоловых в России много.

– Ермоловых в России, может, и много, – сказал Матвей, – но дело в том, что точно такая фотография есть у нас дома. Только мы почти ничего про этих женщину и мальчика не знаем. А мужчина – это Ермолов Константин Павлович, отец моей бабушки. Мой то есть прадед. Поэтому, если бы твоя фамилия была Чимша-Гималайская, я бы удивился гораздо меньше.

– Как... твой прадед? – пробормотала Лола.

Теперь уже она смотрела на Матвея как на привидение.

– Вот так. Да ты приглядишься – я ж на него похож, как брат-близнец. Просто генетическая фантастика какая-то!

Приглядываться к фотографии Лоле было ни к чему: она помнила ее столько же, сколько помнила себя, и знала на ней каждую черточку.

Это был старинный черно-белый фотопортрет, сделанный в профессиональном ателье – наверное, в московском, потому что папа родился ведь в Москве. В углу стояли циферки 1923, значит, ему было тогда всего два года. На этой фотографии он был похож на девочку – вернее, просто был очень похож на свою маму. Лола всегда знала, что этой ее неведомой бабушки давно нет в живых, хотя никаких достоверных сведений о ней не было. Но у нее глаза и даже губы были слишком... трагические, у этой Анастасии Васильевны Ермоловой; с такими глазами долго на свете не живут.

А у ее мужа, папиного отца, глаза были лихие и молодые и ресницы – как стрелы. На нем был ладно пригнанный полушубок с выпушкой. Папа говорил, что такие полушубки назывались романовскими, их выдавали офицерам в Первую мировую войну, и те долго еще их носили, даже после революции. Но главным в Константине Павловиче Ермолове были, конечно, не ресницы и не полушубок, а бесшабашное, за душу берущее обаяние, которое сразу бросалось в глаза, которого так много было в Матвее и из-за которого он действительно был похож на своего прадеда как две капли воды...

– Этого быть не может, – растерянно и почти сердито сказала Лола.

– Потому что этого не может быть никогда? – усмехнулся Матвей. – Но это реальность, – передразнил он ее недавние слова. – Хотя, конечно, довольно ошеломляющая... Мы этой фотографии еще год назад в глаза не видели. Мама ее случайно в Италии обнаружила, когда в командировке была, и Константина Павловича на ней узнала. У бабушки его фронтовая фотокарточка есть, но очень маленькая. Он под Сталинградом погиб. Мама говорит, просто остолбенела от того, как я, оказывается, на прадеда в юности похож, – засмеялся он. – И правда, впечатляет! Там еще дневник был, в Италии, этой женщины дневник, но из него мало что можно было понять. Только то, что она с моим прадедом жила, потом за границу уехала, а ребенка почему-то оставила. А раньше, до фотографии, мы ни про нее, ни про ребенка понятия не имели. Странно даже. – Он пожал плечами. – Ну, она, положим, уехала, но сын-то ее куда подевался? Мы думали, он маленьким умер, и, может, Константину Павловичу тяжело было об этом вспоминать. Но все равно странно! Чтобы даже дочери своей не сказать, бабушке моей то есть, что у нее брат был... Почему это, не знаешь?

– Это долго объяснять, – с трудом выговорила Лола. Она была ошеломлена гораздо больше, чем он. – Я тебе потом... когда-нибудь расскажу...

– Конечно, расскажешь, куда ты денешься, – весело сказал Матвей. – Уж я тебя теперь в покое не оставлю! Из чисто биографического интереса. Вот так вот всегда и бывает... – элегическим тоном произнес он; в глазах, впрочем, зеленые чертики так и прыгали. – Только совершишь романтический поступок, спасешь девушку от хулигана, только подумаешь: а не полюбить ли мне ее, красавицу? – как она, пожалуйста, оказывается, твоя... Кто ты мне оказываешься? – поинтересовался он. – Внучатая племянница?

– Нашелся дедушка! – махнула рукой Лола. – Я тебе оказываюсь... Ну да, мой папа твоей бабушке родной брат, а я, значит, тебе двоюродная тетя. Если, конечно, все это правда.

– Правда, тетушка, правда, не сомневайся, – кивнул Матвей. – Какой мне смысл тебя обманывать? Я, знаешь ли, не сторонник инцеста, – важно добавил он. – А то бы, конечно, погодил в кровном родстве признаваться и тебя бы обольстил!

– Когда же ты меня собирался обольщать? – улыбнулась Лола. – Ты же спать лег.

– Доверчивая ты, тетушка, как малое дитя, – усмехнулся Матвей. – Я что, по-твоему, из облаков воздушных сделан? Мало ли что лег! Через полчаса перелег бы.

– А я тебя, конечно, так бы и пустила перелечь! – хмыкнула Лола.

Матвей едва заметно улыбнулся и ничего не ответил. Если бы так улыбнулся и так промолчал любой другой мужчина, Лола не задержалась бы с ответом на эту его неуместную само-

надеянность. Но этот мужчина был совсем особенный – он был такой, как будто она его знала сто лет. Ей даже смешно было представить, что он стал бы ее обольщать.

– Ты не обижайся, – сказала она, – но я тобой вряд ли обольстилась бы. Я в тебе сразу что-то такое почувствовала... близкое. Какое уж там обольщение! Мне с тобой сразу было легко, и я этому очень удивилась.

– Почему удивилась? – не понял Матвей.

– Потому что, во-первых, мне легко ни с кем не бывает – характер недоверчивый. А во-вторых, я тоже не из облака сделана и прекрасно понимаю, что одинокой женщине с таким парнем, как ты, через стеночку спать – это по меньшей мере глупо. Но я с тобой собиралась именно через стеночку спать.

– Да теперь уж наплевать, что там во-первых и во-вторых, – махнул рукой Матвей. – Переедешь в Москву, разберемся, какой у тебя характер.

– С чего это ты взял, что я перееду в Москву? – Голос у Лолы мгновенно стал холодным.

– Лен, ты что?.. – Впервые она расслышала в его голосе растерянность. – Как это – с чего я взял? У нас же с тобой даже глаза одинаковые, я же в том самом доме родился, где и твой отец! И бабушка моя там родилась, и мой отец, ты не сообразила, что ли? И это же, считай, твой дом тоже! Там же все и сейчас так, как всегда было, ничего не изменилось, ты что, не понимаешь?!

Если бы он рассердился на ее упрямство, если бы показал уверенность в своем – неважно, родственном или не родственном, но совершенно мужском – праве распоряжаться ее жизнью, Лола знала бы, что ему ответить. Но он не рассердился, и он не собирался ничего показывать – он говорил что-то сбивчивое, взволнованное про одинаковые глаза, а какие же они у них одинаковые, совершенно разные, хоть и у обоих зеленые, но у него молодые и веселые, как весенняя трава, а у нее – как глубокий речной лед, и такие же, как лед, холодные, как будто она не знает! – и он стоял перед нею растерянный, как мальчик... Да он и был мальчик, но при этом он был абсолютный мужчина, в нем так отчетливо чувствовалась та самая мужская сущность, о которой она читала столько всяких глупостей в никому теперь не нужных книжках и которой не было в жизни, – что Лола растерялась и сама. Сначала растерялась, а потом вдруг почувствовала, что горло у нее будто проволокой перехватывает, и она задыхается от всего, что на нее вдруг свалилось, и совсем не знает, что с этим теперь делать, как теперь с этим жить...

И, почувствовав все это, она судорожно сглотнула, потом всхлипнула, а потом разрыдалась так, словно внутри у нее плотину прорвало.

– Лен, Леночка, ну ты что? – Ее лоб как-то оказался прижат к Матвеевой груди, к каменным мускулам. – Ты на меня обиделась, да? Не обижайся, я же пошутил насчет обольстить, то есть не пошутил, а я же не знал, но теперь же...

Он говорил так смешно, он так не понимал, почему она плачет, что Лола улыбнулась сквозь судорожные всхлипы и, не отрывая лица от его груди, пробормотала:

– Я не обиделась... Просто я всегда знала... папа говорил, что... там ничего больше нет, и никого больше нет, и я думала, что... совсем одна, а я... больше не могу-у...

Тут она разрыдалась еще отчаяннее и вжалась в Матвея лбом так, что ему должно было бы стать больно, несмотря даже на мускулы.

– Мало ли чего тебе папа говорил. – Матвей погладил Лолу по голове и, положив ладони ей на щеки, оторвал ее лицо от своей груди, заставил ее посмотреть ему в лицо. – Он же не знал, что я на свете есть, а ты теперь знаешь. И мало ли чего у них там было! Может, они все между собой перессорились, ну и что? Я-то с тобой не ссорился, и родители мои тоже не ссорились, и вообще, все это теперь забытый мрак веков! – Он чмокнул ее в нос и сказал уже не растерянным, а обычным своим бесшабашным тоном: – Так что нечего тут слезы лить, можешь прямо сегодня собираться.

– Ты что, прямо сегодня в Москву возвращаешься? – сквозь слезы улыбнулась Лола.

– Я пока не знаю, когда в Москву возвращаюсь, – ответил он. – Мне пока и здесь есть чем заняться. Но тебе меня дожидаться совершенно незачем. Живешь ты несколько... веселее, чем надо, так что собирайся давай поскорее. Я родителям завтра же напишу. У нас парень дембельнулся, в Москву летит, так что письмо быстро дойдет. А ты им, когда билет возьмешь, сразу позвонишь, и они тебя в аэропорту встретят.

– Главное, чтобы в аэропорту, – уже почти спокойно сказала она. – Только давай сборы все-таки до завтра отложим, ладно? А сегодня ты поспи хоть немного. До пяти утра всего три часа осталось, и ты из-за моей дурачности не выспишься.

– Выплюсь, не беспокойся, – махнул рукой Матвей. – Я, Лен, не то что за три часа – за пять минут могу выспаться, если есть возможность. Правда ведь людей не хватает. У нас рейды чуть не каждый день, сутками в камышах сидим, а если кого высидим, то потом еще... дополнительная возня. Я и сидя могу спать, и стоя, и даже на четвереньках, а не то что в крахмальной постели.

– Ты хоть постарайся, чтобы тебя не убили, – жалобно попросила Лола.

Теперь она совсем не стеснялась о чем-то его просить, и жалобного своего тона тоже не стеснялась.

– С чего это меня вдруг убьют? – улыбнулся он. – Я у родителей единственный, да и тебя кто будет замуж выдавать?

Он сказал это так, что невозможно было сомневаться: конечно, ни в коем случае не могут его убить. Хотя на самом деле это было до жути вероятно, и Лола это понимала, и он, конечно, понимал тоже... Но когда он говорил, что это невозможно, – это становилось невозможным; так он умел говорить. Самое удивительное заключалось в том, что Лола прекрасно знала эту способность: убеждать в невозможном так, что оно мгновенно становилось возможным. Папа ни в чем не был похож на Матвея – в нем совсем не было этой лихой мужской силы, и, главное, совсем не чувствовалось в ее папе уверенности в своей силе, которая так чувствовалась в ее неожиданно обретенном племяннике. Но вот это умение говорить так, чтобы от одного только слова Лола чувствовала спокойствие, пусть даже разум ее знал об иллюзорности такого спокойствия, – это у обоих Ермоловых, навсегда разделенных жизнью, было совершенно одинаковое. Оно было настолько сильным, это загадочное умение, что его дуновение не угасло в доме даже через много лет после папиной смерти. Поэтому Лола и чувствовала в родных стенах покой и защищенность, хотя никаких оснований для таких чувств давно ведь не было.

И то же самое мгновенно узнаваемое умение прозвучало теперь в Матвеевом голосе.

– Ты меня подожди сватать, я замуж не собираюсь. Спи, племянничек, – сказала Лола и быстро поцеловала его в щеку. – И будильник в голове не включай, я тебя сама разбужу.

Конечно, он уснул сразу же, как только коснулся головой подушки. Лола лежала на диване, прислушиваясь к его ровному молодому дыханию за стеной. Ей не только не хотелось спать, но странно было даже подумать о сне.

Все в ней было взбудоражено, встревожено, взвихрено так, что, казалось, не уляжется никогда. Хорошо было Матвею говорить про забытый мрак веков – она улыбнулась, вспомнив его лихие глаза, – а для нее все это было вовсе не так очевидно... Она слишком хорошо помнила, каким делалось папино лицо, когда он смотрел на эту свою детскую, с родителями, фотографию. И как он говорил, что в отцовском доме ему и прежде не было места, и тем более нет места теперь, – это тоже помнила.

К тому же, хоть Лола и обещала что-то рассказать Матвею, но на самом деле она знала о прошлом своего отца очень мало. Она знала, что прошлое это было отмечено очень сильным горем, но все-таки оно было – «темна вода во облацех». Так папа сказал однажды о своей жизни, и она запомнила эти странные слова, хотя была тогда совсем маленькая, а больше он их не повторял.

Лола лежала без сна, боялась подумать о будущем и потому думала о прошлом. Она разглядывала рисунок ковра на стене, и ей казалось, что она вглядывается в темную, глубокую во облаках, воду.

И ничего не может в ней разглядеть.

Глава 3

Темная ночная вода в арыке казалась особенно глубокой и живой после дневной, бесконечной, выжженной солнцем до самых травяных корней степи. Или это еще не арык был? Василий не знал, как здесь, в Голодной степи, называется такой ручей. Да это было и неважно.

Проводник сказал, что стоять на этом полустанке будут часа полтора, не меньше – пропускают какой-то важный состав, – поэтому Василий не беспокоился, что отстанет, если отойдет далеко от перрона и от саманной будки, которая здесь называлась вокзалом. Он стоял над нешироким темным арыком, прорезающим сухую землю, и тяжесть его мыслей не уносилась даже бегущей водою, как это всегда с ним бывало.

Впрочем, всегда это бывало в Ленинграде, когда он смотрел на любую из его прекрасных рек – хоть на широкую Неву, хоть на узкую Невку. А как оно будет в Средней Азии, где ему теперь предстоит жить и работать, это ведь неизвестно. Вот, смотрит на темный арык, а на сердце по-прежнему тяжело, и бегущая вода не помогает.

«Совсем от жары одурел, – усмехнулся про себя Василий. – При чем тут арык?»

Арык с его быстротекущей, но не приносящей душе покоя водой был, конечно, совершенно ни при чем. Да и вся Азия была ни при чем – Василию даже интересно было: какая-то она будет, новая его жизнь на совсем новом месте?

Дело было только в отце – в его неожиданном, накануне отъезда, появлении в общежитии. Василий даже растерялся, войдя в комнату и увидев отца, сидящего на стуле у кровати. За все время, что он учился в Горном институте, тот ни разу не приехал к нему в Ленинград. Да Василий и сам выбрался за все время учебы в Москву только однажды – на первом курсе, в зимние каникулы. Отец был тогда дома всего одни сутки, потом уехал в командировку куда-то на Дальний Восток, и Василий на следующий день вернулся в Ленинград: оставаться с Натальей ему было незачем. Правда, была еще новорожденная сестра Тоня – с ней он остался бы, потому что она была нежная и серьезная. Ему даже удивительно было: как это крошечный, в три ладони длиной, ребенок может быть таким серьезным? Но Наталья так явно не хотела, чтобы он остался, и злоба так отчетливо читалась на ее широком лице, что Василий не стал пробиваться через эту злобу. Зачем? Если из-за сестры, то что сестра? Вырастет и будет ему такая же чужая, как все в этом доме, как сам этот дом.

– Здравствуй, – сказал отец, вставая и протягивая руку. – Думал, ты уехал уже.

– Как же уехал, если вещи все здесь? – Василий пожал протянутую руку. – Здравствуй, папа.

– Может, в городе где-нибудь посидим? – предложил отец.

– Конечно, – кивнул Василий. – Здесь у нас и негде.

В комнате жили пятнадцать человек, и толком посидеть в ней, конечно, было невозможно. Точнее, можно было вот именно только посидеть на стульях, а спокойно поговорить – едва ли. Другое дело, что Василий не был уверен, надо ли это отцу... Никогда между ними не случалось такого разговора, который требовал бы особенной, доверительной обстановки, и с чего бы вдруг это понадобилось сейчас?

У общежития Константина Павловича ждала машина.

– Ты ведь полковник уже? – спросил Василий.

Отец был не в форме, а в темно-сером габардиновом костюме, который, впрочем, сидел на нем так же ладно, как военная форма. На нем любая одежда сидела как влитая.

– Да, – кивнул он. – А ты откуда знаешь?

– Ты на почтовом переводе написал. Где место для сообщения, – напомнил Василий. – Как Тоня?

– Ничего, – пожал плечами отец. – Растет. Тихая девочка. К гостинице «Европейская», – сказал он водителю. – Ах ты, как же она теперь-то называется?..

– «Красногвардейская» она теперь, – весело сказал пожилой кряжистый шофер. – Есть, товарищ полковник, доставим.

– А вы откуда знаете, как она раньше называлась? Говор у вас не питерский.

– У вас тоже, – с легким оттенком фамильярности, впрочем, едва ощутимым, заметил водитель. – Но про «Европейскую», однако, знаете. А я из Карелии сам. Так ведь начальство вожу, наслышан про рестораны.

Отцу дореволюционные названия были, наверное, известны по студенческим годам. Василий знал, что он учился в Петербурге, в Институте Корпуса инженеров путей сообщения, но не успел окончить до Первой мировой – призвали в армию, а там революция и Гражданская, а потом Москва, наркомат. В Наркомате путей сообщения Константин Павлович Ермолов служил до сих пор, и Василий не знал, надо ли говорить о чине отца после двадцати лет службы «уже полковник» или «еще полковник»...

Ресторан гостиницы «Красногвардейская» оказался ошеломительно роскошным – с широкой мраморной лестницей, с тусклой бронзой бесчисленных завитушек, со скульптурами и зеркалами в огромном зале, где стоял особенный, казавшийся таинственным, вечерний гул. Но, может быть, только Василию все это казалось роскошным и даже таинственным, потому что в свои двадцать лет он попал в ресторан впервые. Едва ли, правда, и отец был завсегдатаем ресторанов – трудно было предположить в нем интерес к такому времяпрепровождению. Но Константин Павлович выглядел в любых обстоятельствах так, как будто в них и родился, и прожил всю жизнь. Обстоятельства сидели на нем так же ладно, как одежда, и так же, как одежда, не имели для него никакого значения.

Этому редкостному качеству можно было бы даже позавидовать, если бы Василий не понимал его причину. И, понимая, он испытывал не зависть, а сочувствие – насколько вообще можно было испытывать сочувствие к его отцу... Дело было в том, что в глубоком горе, которым, как темным облаком, был окружен Константин Павлович Ермолов, не могли существовать никакие человеческие чувства, тем более такие мелкие, как удивление или неловкость в ресторане. Может быть, когда-нибудь это было иначе, но таких времен Василий не помнил. Горе было с отцом всегда, оно было у него внутри, как сердце, и, наверное, из сердца-то оно и исходило.

Такой же роскошный, как весь этот ресторан, метрдотель встретил отца так почтительно, словно тот был здесь почетным гостем. Он провел их к столику на двоих, которого не было видно от входной двери, и исчез с какой-то виртуозной деликатностью.

– Выбери, что будешь есть, Васька, – сказал отец. – И мне то же самое закажи.

– Может, лучше ты? – смущенно пробормотал Василий. – Я как-то...

У него было такое чувство, словно он уселся ужинать в парадном зале Зимнего дворца.

– Ничего, учись. – Отец не то чтобы улыбнулся – он никогда не улыбался, – но глаза его слегка посветлели. – Ты взрослый уже, в жизни пригодится.

– Где же мне такое пригодится? Я ведь в Азию уезжаю.

В ответ на едва заметный проблеск света в отцовских глазах Василий улыбнулся так широко, как будто произошло что-то неимоверно радостное. Константин Павлович был из тех людей, про которых говорят: «Посмотрит – рублем одарит». Именно благодаря ему Василий понимал, что означает эта пословица, хотя такой вот отцовский взгляд был вообще-то редчайшей редкостью.

– Есть же и в Азии какой-нибудь общепит. Чайхана, например.

– Разве что чайхана! – засмеялся Василий. – Интересно, судака под польским соусом в чайхане подают? – поинтересовался он, заглянув в кожаную папку, которую положил перед

Константином Павловичем официант, еще более незаметный, чем метрдотель, то есть напоминавший уж просто дуновение ветра. – Это что за соус такой, не знаешь?

– Растопленное сливочное масло, – ответил отец. – С чем-то еще, по-моему, но точно я не помню. Заказывай, заказывай. Все подряд, на что взгляд упадет.

– Гуляем, папа? – снова улыбнулся Василий.

Он не видел отца так давно, что уже должен был бы забыть его лицо и чувствовать себя с ним как с чужим человеком. Но странное дело – вместо этого он чувствовал невероятную легкость. Как будто не расставался с отцом ни на день.

Василий заказал шашлык по-карски, какой-то салат с каперсами – интересно, что это такое? – и хлеб. Отец попросил принести водки и к ней «что-нибудь пристойное закусить».

– Когда ты едешь? – спросил он, как только официант отошел от столика.

– Завтра.

– И куда?

– Сначала в Сталинабад, а оттуда – куда пошлют.

– Деньги есть у тебя?

– Конечно. Мне подъемные уже выдали, да и ты ведь...

Василий уехал из дому в четырнадцать лет, сразу после восьмого класса. Отец его не удерживал, хотя понятно было, что сыну нет никакой необходимости уходить из школы в фабрично-заводское училище, да еще почему-то не в московское, а в ленинградское. И геологии тоже можно было выучиться в Москве, а не только в Ленинградском горном институте. Но они не стали объясняться по этому поводу. Отец понимал, почему сын уезжает, а сын понимал, почему отец этому не препятствует.

С того самого дня, когда Василий обосновался в своем первом, еще от училища при Путиловском заводе, ленинградском общежитии, Константин Павлович присылал ему гораздо больше денег, чем требовалось на жизнь, даже если бы он вел такую жизнь, которой не вели обычные студенты и которой он тоже, конечно, не вел. Василий подозревал, что отец отсылает ему половину своей зарплаты, и хотел написать, что столько ему просто не надо. Но потом почему-то не стал этого делать. Не то чтобы привык к большим деньгам – потратить их он не умел, когда был подростком, и не научился, да и не стремился научиться, когда вырос. Но как-то... Он с самого детства знал: обеспечить все внешние блага жизни, которые есть у нормальных детей, – это единственное, что отец может для него сделать, и это он делает с упорным постоянством, не обращая внимания на тихое бешенство Натальи и даже, скорее всего, ее бешенства не замечая.

И Василий не мог сказать отцу, что ему не нужны деньги, потому что это означало бы, что ему не нужно от отца ничего... Поэтому он просто клал деньги на сберкнижку, даже не интересуясь, сколько их там накопилось, и только вчера, перед самым отъездом, с изумлением узнал, как велика эта сумма.

– У меня есть деньги, – повторил он. – Спасибо, папа.

– Не за что.

Официант принес водку в хрустальном графинчике, летящим движением расставил стопки и разложил приборы, потом установил посередине стола вазочку с черной икрой, тарелку с прозрачно-оранжевым балыком, белый ноздреватый хлеб, густо-желтое масло.

– Аральск будешь проезжать, там рыбу к поезду приносят, – сказал Константин Павлович. – А перед этим Голодную степь, как раз изголодаешься. Вот рыбы-то наешься, Вася! – Отец едва заметно улыбнулся, и глаза тут же, хотя и всего на мгновение, сверкнули молодыми бесшабашными искрами; как будто роса упала на молодую весеннюю траву. – Водки выпьешь? – поинтересовался он.

– Да я вообще-то не пью, – с сомнением в голосе ответил Василий.

– Я вообще-то тоже, – кивнул Константин Павлович. – Но с тобой выпью. А ты... со мной?

То, что прозвучало в его голосе – неуверенная, печальная просьба, – было так неожиданно и так полоснуло по сердцу резкой, пронзительной болью, что Василий изумленно взглянул на отца. Вопрос, безмолвно стоявший у того в глазах, был гораздо мучительнее, чем если бы он был высказан вслух.

– Конечно. – Василий судорожно сглотнул. – Конечно, выпью с тобой, папа.

Он действительно почти не пил, это было в их студенческой компании как-то не принято – и без выпивки было по-молодому весело. Если и пили иногда на вечеринках, то не водку, а только вино. Поэтому водка непривычно обожгла горло, и Василий закашлялся.

Отец протянул руку и постучал его по спине – легко постучал, как будто погладил, а потом задержал ладонь у него на плече, на секунду сжал пальцы и быстро убрал руку.

Хоть водка пошла плохо, зато подействовала быстро. Смахнув со щек слезы, Василий почувствовал, что боль, легшая на душу от непривычного отцовского взгляда, словно бы начала растворяться. И ведь всего лишь от какой-то противной жидкости, вот удивительно!

– Закусить не забудь, Васька, – напомнил отец, отставив свою пустую рюмку. – Хлеба с маслом поешь, тогда меньше опьянеешь. Да и икра не повредит. – И вдруг, без всякого перерыва сказал: – Я тебе фотографию привез. Мы там с Асей и с тобой, я ее раньше тебе не показывал.

Василий медленно, как замороженный, отодвинул вазочку с икрой, так же медленно положил на тарелку нож. Он впервые в жизни слышал из уст отца имя своей матери. Если бы не Наталья, то он, пожалуй, даже и не знал бы, как ее зовут... Да нет, знал бы, конечно: во всех анкетах приходилось писать, что мать его, Ермолова-Раевская Анастасия Васильевна, с 1924 года проживает за границей, а где именно, ему неизвестно, поскольку никаких отношений с ней ни он, ни его отец не поддерживают. Конечно, и отцу приходилось писать то же самое в анкетах, и, наверное, именно с этим, а даже не с дворянским происхождением была связана нестремительность его служебной карьеры. Но с сыном он об этом не говорил никогда.

Константин Павлович достал из внутреннего кармана пиджака конверт из плотной сиреневой бумаги, положил его на стол рядом с Василием и попросил:

– Я ее тебе отдам, фотографию, так что потом посмотришь. Без меня. Мне, Васька, это тяжело и... Потом, без меня, – повторил он.

То, что говорил сейчас отец, а главное, то, как он это говорил, было так непривычно, что казалось невозможным. Вряд ли такое преображение произошло от рюмки водки, но Василий вдруг понял, почему отец почти не пил: просто не давал себе даже этой маленькой, призрачной возможности расслабиться. Его горе было абсолютным, и он не хотел обманывать свое горе.

– Она... жива? – с трудом выговорил Василий.

– Не знаю. Это я у тебя хотел спросить. Я про нее ничего не знаю.

– У меня? – удивился Василий. – Но откуда же я...

– Я думал... Думал, может, она хотя бы тебе писала когда-нибудь, – едва слышно произнес отец. – Мне и не должна была, это понятно, но хотя бы тебе... Значит, вряд ли жива, Васька. Ты не сердись, что я тебя так называю? – вдруг спросил он.

– Не сержусь. Она меня всегда так называла, я помню.

– Да, – кивнул Константин Павлович. Голос его стал как-то спокойнее, наверное, он просто подавил в себе волнение, ну конечно, он ведь всегда подавлял в себе чувства, поэтому постороннему человеку могло показаться, что у него и вовсе нет никаких чувств, но Василий-то не был посторонним. – Я на нее сердился даже. Нельзя, говорил, мальчишку как котенка называть. А она только смеялась. Я не думал, что ты это помнишь, ты же совсем маленький был, когда она...

– Я себя очень рано помню, пап, – сказал Василий. – Хочешь верь, хочешь не верь, но помню даже, как ходить учился. И ее поэтому помню.

– Я тоже.

Оркестр сидел довольно далеко от них, поэтому сменяющие друг друга мелодии звучали негромко и не мешали разговаривать. Это были обычные ресторанные мелодии, и что-то пела слабеньким, но чистым голосом певица; песни из кинофильмов, кажется. Но как раз в ту минуту, когда отец сказал: «Я тоже», – она запела не из кинофильма, а вальс про сопки Маньчжурии, где русских не слышно слез.

«Пусть гаолян навеет вам сладкие сны...» – неожиданно громко и высоко прозвучало в ресторанном гуле.

Василий заметил, что отец вздрогнул. Наверное, тот догадался об этом и торопливо, словно себе в оправдание, произнес:

– Я ведь был в Маньчжурии. Там Китайско-Восточная железная дорога проходит, меня посылали, когда военный конфликт был. А гаолян – это, оказывается, обыкновенные кусты.

Василий всю жизнь знал, что его отец – сильный и суровый человек, которого так же невозможно увидеть растерянным или смятенным, как веселым. Но теперь смятение в отцовском взгляде не казалось ему неожиданным и ошеломительным. Смятение сливалось в глазах Константина Павловича с постоянным, въевшимся в зрачки и в зеленую радужку горем, и Василий вдруг подумал, что то всегдашнее горе и это нынешнее смятение, может быть, самое живое и даже единственно живое, что есть в его отце.

– А звучит красиво – га-о-лян, – улыбнулся Василий. – Ты думаешь, она может быть в Маньчжурии? В Харбине? – спросил он, помолчав.

– Не знаю я, Васька. Ничего я про нее не знаю, честное слово. Она в Берлин уехала, к своему отцу, тот профессор философии был и еще в восемнадцатом году через Литву в Германию выехал. А куда она потом, как она потом... – Отец замолчал, словно захлебнулся, но почти сразу же, с какой-то страстной к себе беспощадностью, продолжил: – Она к жизни совсем приспособлена не была, я до последней минуты не верил, что она от меня уедет, потому что... Ну, пусть даже только потому, что она совершенно ни к какой нынешней жизни не сумела бы приладиться, и за границей тоже, я уверен. Наверное, там она в кабаре стала танцевать, она же танцовка была. Богемьерка, кабареьерка – так она себя называла. – Константин Павлович улыбнулся, глаза стали совсем молодые. Но уже через секунду Василию показалось, что отец сейчас заплачет, хотя этого совершенно точно не могло быть. Тот, конечно, не заплакал, а сказал: – И пела еще. Голос у нее не сильный был, но очень такой... Не могу объяснить. За душу брал ее голос.

– Почему она меня с собой не взяла? – вдруг спросил Василий. – Ты же знаешь, папа, скажи: как она могла меня оставить?

Он не думал, что решится задать этот вопрос. Это был единственный вопрос, который мучил его всю жизнь и на который он не мог найти ответа сам, без чужой помощи. То есть не без чужой, а без единственной отцовской помощи.

Он не преувеличивал, когда говорил, что помнит себя почти с младенческого возраста. Это было удивительно, невероятно, но это было так. И маму он помнил настолько отчетливо, что достаточно ему было закрыть глаза, как из темноты проступали черты ее лица: карие, словно изнутри подсвеченные золотом глаза, темные, выющиеся на висках волосы, большой, как у девочки, рот... Но главным воспоминанием о матери было даже не это. Главным было то ощущение, которое он помнил еще яснее, чем помнил ее внешность, потому что оно связывалось в его сознании только с нею.

Главным было ощущение направленной на него любви.

Любовь, исходявшая от нее, накрывала его, маленького, как огромное облако и была настолько осязаема, что ему становилось щекотно в носу. Кажется, в детстве он даже плакал от

непонятности, щекотности этого ощущения. Правда, это он как раз помнил неясно, словно в тумане; все-таки, когда мама исчезла, ему было только три года. Но саму ее он все равно помнил ясно, и в ясности этой не понимал: как она могла его оставить, что должно было случиться, чтобы она его оставила?..

И он ждал ответа от отца, потому что никто другой не мог ему этого объяснить.

Отец молчал.

– Почему? – повторил Василий. – Я не верю, что ты этого не знаешь!

– Я и не говорю, что не знаю, – наконец произнес Константин Павлович. – Я знаю, почему она тебя оставила. Потому что я не дал ей тебя увезти.

– Но... как это?.. – растерянно выговорил Василий. – Но зачем же... Зачем я тебе был нужен?!

Эти слова вырвались сами собою, он совсем не хотел обидеть отца, но ведь это была правда, правда такая сильная и острая, что любые обиды казались мелкими по сравнению с нею! Разве он был нужен этому до глубины души одинокому и в одиночестве своем совершенно самодостаточному человеку, и разве он мог быть ему нужен настолько, чтобы не дать матери увезти его с собою – все равно куда, только бы не оставлять его в том безлюбном пространстве, в котором он без нее остался?!

– Я догадывался, что ты это понимаешь. – Отцовские слова падали тяжело, как свинцовые капли. – Что ты про меня это понимаешь. Оттого у нас с тобою все вот так... Не по-человечески. Ты, конечно, вправе мне ни в чем теперь не верить, но ты все же... Ты все же хотя бы в одном мне поверь: я не для того тебя ей не отдал, чтобы ее тобою удержать. Не такой я все-таки был подлец. Да она и все равно не осталась бы, даже из-за тебя. Ни за что она со мной не осталась бы. Тогда я себя еще как-то пытался оправдывать – революция, мол, война, объективные обстоятельства, время требует... Но вообще-то и тогда уже понимал: душу я себе выжег всякими... объективными обстоятельствами. А за это бывает наказание. Так ведь и вышло... Она нас с тобой не на счастье оставила, Васька, но и сама не за счастьем уехала.

Как будто Василий спрашивал его, за счастьем ли уехала мама! Да и о том, что отец несчастлив, он знал без его объяснений. А про какие-то объективные обстоятельства он понял не очень. Ну, наверное, отец сделал что-то такое, из-за чего мама не смогла с ним жить. Но его-то почему это коснулось вот так... безжалостно?!

– Зачем ты меня ей не отдал? – мертвым голосом выговорил он.

– Затем, что ты никому там не был нужен, – твердо сказал отец. – Ты вот говоришь, что мне не был нужен. Но ведь здесь все твое, понимаешь? Захотел ты геологом стать – и стал, и кем угодно стал бы. А там – кем бы ты мог стать? Половым в трактире? Ася этого не хотела понимать, а я... Да и я до сих пор не понимаю, правильно ли сделал, – неожиданно закончил он.

– Прости, – помолчав, сказал Василий. – Я не хотел тебя обидеть.

– Обидеть? – усмехнулся отец. – Да меня убить мало. Во всяком случае, убить меня – это было бы милосердное решение.

– Почему? – Василий даже вздрогнул: с таким спокойствием отец это произнес.

– Потому что самому это делать противно, а жить так, как я живу, довольно... нелегко, – снова усмехнулся тот. – Я же ее люблю, Васька, – как что-то само собой разумеющееся, сказал он. – Живая она или нет, а я ее люблю. Поэтому нынешний мой ад, может, даже похлеще, чем тот, что меня после смерти ждет.

– Почему... ад после смерти? – растерянно проговорил Василий. – Ты что, папа?..

Василий никогда не боролся с чужими религиозными заблуждениями, хотя, конечно, был комсомольцем. Еще живя дома, он читал даже старую Библию – просто потому, что это была мамина книжка, – и помнил из нее какие-то разрозненные фразы. Но одно дело не мешать людям заблуждаться, раз они этого хотят, и совсем другое – услышать от собственного отца, разумного человека, такие странные слова про ад...

– Потому что я не надеюсь после смерти с ней встретиться, – все с тем же жутким спокойствием объяснил отец. – Ничем я не заслужил с ней встретиться, а значит, и после смерти все то же будет. Ладно, Васька! – Он легонько стукнул ладонью по столу. – Вон шашлык твой несут, давай поужинаем. Фотографию ты себе оставь. Я ее и без фотографии помню.

Больше он не говорил ни о матери, ни об аде, и Василий больше ни о чем его не расспрашивал. Только в самом конце вечера, уже расплатившись с официантом, Константин Павлович вдруг сказал:

– А вообще-то она была права. Она в двадцать четвертом году уезжала, а тогда ведь всем казалось, что все наконец налаживается, и я тоже думал: ну, страшная была революция, но ведь все революции такие, Французская, что ли, лучше была? Но теперь, думал, все станет по-человечески. А она мне, помню, сказала: «Здесь больше нельзя жить, Костя. Здесь стыдно жить». Так оно и есть: стыдно.

– Но почему же стыдно? – Василий снова, уже в который раз за этот вечер, расслышал в собственном голосе растерянность. – Все ведь живут, работают, и вообще... Ничего такого я не вижу, чтобы стыдно! – сердито выпалил он.

– Потому что ты еще детскими глазами смотришь, – ответил отец. – Это, может, даже и хорошо, лишь бы не затянулось. Ну а я из детского возраста уже вышел, и обманывать себя мне незачем. А когда я таких, как Ася, в лагерях где-нибудь вижу – в Сибири или в Средней Азии твоей, – мне и вовсе жить не хочется.

– Ты разве в лагерях бываешь? – удивленно пробормотал Василий. – Но почему... И в каких же лагерях? Я думал, ты туда едешь, где железные дороги строят...

– А железные дороги, по-твоему, не лагерь? – жестко бросил отец. – Или их одни добровольцы строят? Эков побольше будет, и женщин среди них хватает. Через одну такие, как мама твоя была, – богемьерки, кабареьерки... Ну, что теперь о них! Снявши голову, по волосам не плачут.

Непонятно было, о какой голове он говорит и почему называет лагерных женщин волосами этой головы, но переспрашивать Василий не стал. Он был слишком ошеломлен всем услышанным, чтобы задавать какие-то вопросы.

Ему показалось, что в ресторане сидели совсем недолго – наверное, потому что он тяготился всей этой музейной роскошью, – но, когда они с отцом вышли на улицу, сумерки уже стали серыми, смутными. Они всегда такими бывали в мае, потому что вскоре должны были начаться белые ночи.

«Я их в этом году и не увижу, – подумал Василий. – А когда увижу? Может, уже и никогда».

Странно, но, подумав об этом, он не почувствовал даже сожаления. Он любил Ленинград, но любил его не больше, чем любой другой город, и только умом понимал, что Ленинград красивее любого другого города, красивее, пожалуй, даже Москвы. Но с Москвой было связано печальное, мучительное чувство – расставания, вечной разлуки. А с Ленинградом, в котором прошла его юность, таких чувств связано не было, и Ленинград он поэтому покидал легко.

Отец довез его до общежития. Выйдя из машины, он протянул руку для прощания, но Василий не ответил на рукопожатие. Вместо этого он обнял отца – обнял неловко, потому что никогда этого не делал и делать, конечно, не умел, но все-таки крепко.

«Не увидимся больше», – вдруг с какой-то странной и страшной отчетливостью подумал он.

Если бы такая мысль пришла ему в голову всего лишь день назад, вряд ли она вызвала бы в его душе такое смятение, какое вызвала сейчас. Но она вряд ли пришла бы ему в голову день назад – с чего бы, ведь он и так подолгу не виделся с отцом... А теперь он стоял перед ним растерянный и не знал, что сказать и что сделать.

«Наверное, и он не знает», – подумал Василий.

Он боялся взглянуть на отца. Но, к его удивлению, когда тот заговорил, голос его прозвучал с каким-то особенным спокойствием.

– Если со мной что-нибудь случится, – сказал Константин Павлович, – ты от меня отказывайся сразу, даже не раздумывая.

– Как это? – опешил Василий.

Он ожидал каких угодно слов, но не этих! И что они вообще значат, эти слова?

– Очень просто. Если меня арестуют, тебе со мной в родстве состоять ни к чему. И учти, что десять лет без права переписки – это на самом деле расстрел. С такими сроками людей в лагерях нет. Так что в этом случае тем более отказывайся. С легким сердцем, – спокойно объяснил Константин Павлович. – Ну что ты так на меня смотришь?

– Как-то ты про это говоришь... – пробормотал Василий. – Как будто и не боишься даже.

– Васька, Васька, малое ты еще дитя! – улыбнулся Константин Павлович. – Я и рад бы тюрьмы и сумы бояться, да не получается. Этого те бояться, кого что-нибудь в жизни держит, а меня... Не обижайся, но меня – ничто и никто. Тебя я люблю, но не так сильно я тебе нужен, чтобы за твою соломинку мог удержаться.

– А Тоня? – тихо спросил Василий.

– А Тоню мне просто жалко, – ответил отец. – Ты хотя бы от любви родился, может, тебя это в жизни согреет, а она-то... Что это такое, любовь, Наталья никогда понятия не имела – ни ко мне, ни к ребенку. Хотела в квартире закрепиться, вот и родила. Я ее вообще-то и без Тони не выгнал бы, – усмехнулся он. – Так что зря старалась. В общем, если тебе что-нибудь нужно будет, пиши мне, не стесняйся. А если меня возьмут, отказывайся сразу, – повторил он.

– С легким сердцем? – сердито переспросил Василий. – Сильно же ты меня любишь, папа! А главное, знаешь меня хорошо.

– Ну ладно, ладно, не фыркай, – улыбнулся Константин Павлович. – Я же как лучше советую. Думаешь, я сам не понимаю, что в жизни как лучше редко получается? Прости меня, Васька, – помолчав, сказал он. – Если сможешь.

Он быстро притянул сына к себе и обнял так крепко, что у него хрустнули кости и сердце зашло болю и счастьем одновременно. И в это короткое, на одно объятие, мгновение Василий вдруг понял: если отец и маму вот так обнимал, то каким же адом стала без него ее жизнь... Точно, что не меньшим, чем у него без нее.

– Напиши, когда на место прибудешь. – Отец оттолкнул его от себя легким, почти неощутимым движением. – И будь-ка ты счастлив, Васька. Хотя бы за нас с Асей.

Паровозный гудок прозвучал в темноте и тишине так резко и тревожно, что Василий вздрогнул. Не хватало только отстать от поезда на полустанке в Голодной степи! Он с трудом отвел взгляд от темной воды в арыке и, все ускоряя шаг, пошел к платформе.

Оказалось, он не единственный пассажир, чуть не опоздавший к отправлению. Правда, присмотревшись, Василий понял, что люди, входящие в вагон, прибыли к поезду только что, на этом вот полустанке. Их было довольно много, и они вносили в вагон что-то громоздкое. Подойдя поближе, Василий понял, что «много» – это всего лишь четверо: два солдата, командир и женщина, а громоздкий груз – это носилки, на которых лежит еще один человек, укрытый до подбородка одеялом.

– Живее, живее, – торопил командир; солдаты все не могли развернуть носилки так, чтобы протиснуть их в узкие вагонные двери. – Состав задерживаем, график движения срываем!

Засуетившись, солдаты дернули носилки и накренили так, что лежащий на них человек чуть не упал. Женщина вскрикнула и бросилась к нему.

– Бекмурадов, ты что, покойника грузишь?! – заорал командир. – Держи левее, а то не занесешь!

– Папа, ты не ушибся? – спросила женщина.

– Не беспокойся, Люша, все в порядке, – ответил лежащий на носилках человек.

– Учишь их, учишь, все одно дубины без мозгов, – сердито сказал военный. – Недоразвитый народ, таких и армия людьми не сделает.

«Смешное какое имя! – подумал Василий. – Люша... Как у маленькой. Интересно, как полностью будет? Людмила, наверное. Или Ольга».

Солдаты наконец протиснули носилки в вагон. Командир вошел вслед за ними – предстояло еще разворачивать носилки в узком вагонном проходе. Женщина со смешным именем Люша поднялась по ступенькам последней. Поднимаясь за нею, Василий машинально поддерживал ее под локоть. От неожиданности она вздрогнула и на секунду замерла, а потом обернулась – очень медленно, словно ожидала увидеть у себя за спиной что-то страшное.

– Извините, – поспешно сказал Василий. – Поезд вот-вот поедет, может дернуться.

– Ничего. – Ему показалось, что она вздохнула с облегчением. – Спасибо, я поднимусь сама.

Тусклая вагонная лампа освещала ее лицо, от этого неравномерного света по нему мелькали, не давая толком его разглядеть, беспорядочные тени. Но даже тени не могли изменить того отчетливого впечатления, которое возникло у Василия сразу: поразительной, необыкновенной завершенности. Именно завершенности – как будто все, на что была способна природа, воплотилось в этом лице.

Но, конечно, он не думал об этом такими внятными, такими холодными словами – он лишь потрясенно смотрел женщине в лицо. Василий стоял ступенькой ниже и поэтому смотрел тоже чуть снизу, но ему казалось, это не из-за ступенек, а потому только, что на нее и невозможно смотреть иначе. Он где-то читал, что античные богини, оказывается, были высокого роста – для того, чтобы простые смертные не могли прямо смотреть им в лицо.

Она была совсем не похожа на античную богиню – уж точно, что у богини не было такого тоненького, чуть вздернутого носа, – но на нее тоже невозможно было смотреть иначе.

– Спасибо, не беспокойтесь, – повторила она. – Вряд ли поезд тронется, пока мы не погрузимся.

И эти обычные, ничего особенного не значащие слова она тоже произнесла так, как будто за ними стояла какая-то никому не доступная жизнь – ее жизнь...

И, не глядя больше на Василия, скрылась в проходе темного вагона, в который внесли на носилках ее отца.

Глава 4

– Вы, Василий Константинович, просто недооцениваете глубину человеческой убежденности.

Его никто еще не называл по имени-отчеству, поэтому Василий чуть ли не вздрагивал каждый раз, когда Клавдий Юльевич произносил его имя и отчество: ему казалось, тот обращается к какому-то другому человеку, а не к нему.

– Ну почему же недооцениваю? – сказал Василий. – Без убеждений вообще нельзя. Но ведь это без серьезных убеждений, общих, а вы же про какие-то другие говорите? Про какие-то, мне кажется, частные убеждения. И почему вы думаете, что они могут иметь силу над большим количеством людей?

– Они не просто могут иметь силу над большим количеством людей. – Клавдий Юльевич улыбнулся. – Они могут заставить миллионы людей вообще забыть про собственные убеждения и желания. Да что там про желания – про собственную жизнь могут заставить забыть! И эти миллионы людей будут без размышлений исполнять то, что прикажет им один-единственный человек в своем частном послании. В той самой фетве, в действительности которой вы сомневаетесь. Ну а уж забыть не про собственную, а про чужую жизнь, если таковой приказ будет содержаться в фетве, – это и вовсе с большим удовольствием.

– Убить, потому что какому-то незнакомому человеку это ни с того ни с сего в голову взбрело? – недоверчиво переспросил Василий. – А если сам ты про это даже не думал?

– Даже в таком случае. Об этом я и говорю. Сила мусульманского фанатизма современным сознанием как-то не учитывается. Но настанут времена, когда эта сила будет определять жизнь отдельных людей и целых народов, никакого отношения к исламу не имеющих.

– Как это? – не понял Василий.

– Ну вот представьте. – Клавдий Юльевич оперся локтями о подушку и приподнялся повыше. – Представьте, например, что я – или нет, скорее вы – написали книгу.

– Скорее все-таки вы, Клавдий Юльевич, – вставил Василий. – Я не умею книги писать.

– Кто знает, Василий Константинович? – улыбнулся тот. – И все-таки – скорее вы. Потому что у вас, как у человека молодого, с большей вероятностью может возникнуть желание совершить нечто необычное, сотрясти устои. Так вот, предположим, некий аятолла, то есть духовный вождь мусульман, усмотрел в вашей книге нечто такое, что счел оскорблением ислама.

– Но зачем же я стал бы оскорблять ислам? – пожал плечами Василий. – Я про него вообще ничего не знаю. А если стал бы, то и правильно бы ваш аятолла обиделся.

– Вы, может быть, и не имели бы намерения оскорбить ислам, – терпеливо объяснил Клавдий Юльевич. – И аятолла просто высказал бы свое частное о вашей книге мнение. Сюжет ваш, к примеру, показался бы ему слишком вольным по отношению, скажем, к пророку Мухаммеду. Хотя вы, разумеется, заботились бы в своем произведении лишь о том, чтобы сюжетная увлекательность позволила вам выразить некую мыслительную глубину.

– И что этот аятолла сделал бы? – с интересом спросил Василий.

Интерес у него к этому разговору был прямо-таки жгучий! Клавдий Юльевич спокойно рассказывал о чем-то таком, чего Василий не просто не знал, но и как-то... Для него как-то не существовало той жизни, о которой рассказывал Деллагард. Она совершенно не соединялась с тем миром, в котором Василий жил до сих пор, – в котором он заканчивал училище, а потом институт, сдавал экзамены, ходил на комсомольские собрания и студенческие вечеринки... Невозможно было представить, чтобы о чем-нибудь таком зашел разговор, например, в общежитской комнате перед сном!

Это была какая-то особенная, тонко и сложно организованная жизнь, о которой он никогда не думал и не знал. Хотя, может быть... Может быть, только в детстве Василий чувствовал

мимолетное дуновение такой жизни – когда почти со страхом брал с книжной полки в отцовском кабинете тоненькие книжечки в пожелтевших бумажных обложках. Это были старые, еще с «ятами», сборники стихов; Василий понимал, что, конечно, не отец покупал их когда-то. Был в этих книжечках какой-то особенный, нездешний трепет, которого совсем не было в его отце. А значит, их покупала мама, и они остались в этом доме после нее и словно бы вместо нее...

– А сделал бы он как раз то, что называется фетвой, – улыбнулся Делагард. – То есть попросту высказал бы свое личное мнение о вашей книге. Сказал бы, что она оскорбляет ислам, а посему автор ее достоин смерти. Ну а поскольку он является аятоллой, то есть, как вы помните, духовным учителем и вождем, то его личное мнение немедленно было бы воспринято миллионами правоверных мусульман как обязательное руководство к действию. И вас, талантливого автора, в том только и виновного, что талант подсказал вам тот или иной сюжетный ход, стали бы преследовать до тех пор, пока не убили бы.

– Не может быть! – поразился Василий. – Средневековье какое-то, прямо инквизиция! А если бы другой аятолла сказал, что, мол, книга хорошая и убивать меня не надо? – с любопытством спросил он.

– Это было бы уже его личное мнение, – объяснил Клавдий Юльевич. – И оно никак не могло бы отменить личного мнения, то есть фетвы, другого аятоллы. В общем-то, в этом есть даже определенный демократизм. Но софистика состоит в том, что демократизм в данном случае становится орудием тоталитаризма. И с этим ничего не поделаешь – таков ислам. Да и не только ислам, – после короткой паузы добавил он.

Про демократизм Василий понял не очень – Впрочем, как и про тоталитаризм. Что такое демократизм, он, конечно, знал – буржуазная идеология, это им еще в школе говорили, и в училище, и в институте, – а о тоталитаризме имел самое приблизительное представление. Это война так называется, что ли? Но выяснять это у Клавдия Юльевича он не стал. Гораздо интереснее было подробнее расспросить про фетву.

– А если бы я куда-нибудь уехал? – спросил он.

– Удивительно, что такая мысль пришла вам в голову, да еще сразу, – улыбнулся Клавдий Юльевич.

– Почему удивительно? – не понял Василий.

– Потому что вы выросли в такой... в таких условиях, когда отъезд куда бы то ни было не является спасением, так как любой человек, сколько бы ни менял местожительство, тем не менее остается в пределах досягаемости. Тех, кто в этом заинтересован. И поэтому...

– Папа, ты много говоришь, – перебила Елена. – То есть долго. А тебе ведь этого нельзя.

До сих пор она молча сидела на вагонной полке, рядом с Василием и напротив отца. И, разговаривая с Клавдием Юльевичем, Василий все время чувствовал, что она сидит рядом, хотя и не смотрел в ее сторону.

– Все-все, не буду больше расспрашивать! – торопливо пообещал он. – Вы только скажите, чем бы все это кончилось?

– Если сам аятолла не отменил бы свою фетву, то, скорее всего, вашей смертью, – ответил Клавдий Юльевич. – Ну, разве что какое-нибудь могущественное государство направило бы всю свою мощь на защиту вашей жизни. Приставило бы к вам охрану, изменило вам имя, перевозило вас с места на место. И то я не поручился бы за вашу безопасность. Что, например, если бы аятолла умер? Ведь отменить его фетву может только он сам и никто другой! Так она и повисла бы в пространстве вечным вам приговором.

– Папа, завершай лекцию, – велела Елена. – Лучше поспи. Скоро Термез, погранконтроль. Тебе надо отдохнуть.

– Доктор в семье – это катастрофа. – Делагард улыбнулся детской, обезоруживающей улыбкой. – Не женитесь на враче, Василий Константинович! Не то жена станет оценивать каж-

дый ваш шаг с точки зрения его полезности или вредности для здоровья и все бесполезное решительно вам запретит. Вот как Люша.

– Ничего я тебе, папочка, не запрещаю, – заметила она. – Но инфаркт не шутка, и тебе нужен покой, ты это и без меня понимаешь.

Покой в жестком вагоне, в котором ехал Василий, а в последние сутки и его новые соседи, был, конечно, относительный. Народу было много, и поэтому постоянно, даже ночью, кто-нибудь ходил по вагону, или ел, или зачем-то перекладывал вещи, или ссорился, или смеялся... Три места, на которых расположились Клавдий Юльевич, его дочь и зять, до полустанка в Голодной степи оставались последними незанятыми местами. И, кажется, это были последние свободные места во всем поезде. Во всяком случае, Еленин муж сразу же сходил к начальнику состава и, вернувшись, сердито сказал жене:

– Все твоя спешка! Чего было сутки не подождать? Ехали бы в спальном, как положено. Нет, вздурилась: скорей, скорей! Будто на свадьбу торопимся.

Сейчас ее мужа на месте не было – наверное, снова отправился выяснять, не освободились ли более подходящие места. По ярко-голубым петлицам было понятно, что служит Игнатий Степанович в НКВД, и, конечно, к новому месту службы ему положено было ехать в мягком, а не в жестком вагоне.

– Отдыхай, папа, мы тебе мешать не будем, – сказала Елена, вставая. – Мы с Василием Константиновичем в тамбуре покурим.

Она тоже называла его по имени-отчеству, но – вот странность! – если в устах ее отца такое обращение звучало так, словно он обращался к какому-то, Василию незнакомому, взрослому человеку, то Елена произносила его имя и отчество так, что он казался себе еще моложе, чем был. А рядом с нею он и так казался себе слишком молодым...

В тамбуре было грязно, душно, и свет пробивался сквозь оконное стекло так тускло, что солнечный день выглядел смутным вечером.

– Вы извините, что я прервала вашу беседу, – сказала Елена. – Но папа в самом деле еще не оправился после инфаркта, и уставать ему категорически нельзя.

– Я понимаю, ну что вы! – горячо возразил Василий. – Надо было сразу сказать, чтобы я к нему не приставал. Просто он рассказывает интересно, – оправдываясь, добавил он.

Ему впервые в жизни было жаль, что он не курит и поэтому не может поднести зажженную спичку к ее тоненькой папироске. Когда-то, еще до школы, он ходил в детскую группу соседской дамы-фребелички Греты Гансовны, и та научила его многим подобным вещам, причем не только обычным – вроде того, как пользоваться столовыми приборами, но и совершенно неожиданным – например, что мужчина должен помочь даме закурить, даже если не одобряет подобного ее занятия. Впрочем, Василий одобрял любое Еленино занятие.

Она закурила сама и легко взмахнула рукой, отгоняя дым от его лица.

– Вам, наверное, очень надоело ехать, – улыбнулась она. – Курить со мной выходите, хотя вы ведь не курите. Ничего, еще сутки – и Сталинабад, вам недолго осталось терпеть. А мы дальше отправимся, в самые горы.

Она сказала об этом с какой-то непонятной интонацией: словно бы мечтательной, а скорее, страстной. Да, именно страстной – как будто ей предстояло ехать не в горную глушь, куда получил назначение ее муж, а куда-нибудь... В Париж, вот куда! Василию почему-то казалось, что такая женщина, как Елена Клавдиевна, должна была бы говорить о предстоящей ей жизни в Париже именно с таким выражением – страстного, напряженного ожидания.

За сутки, прошедшие после водворения в вагоне Клавдия Юльевича Делгарда с дочерью и зятем, Василий успел узнать, что едут они к новому месту службы Игнатия Степановича и что Елена Клавдиевна тоже надеется получить на этом новом месте работу.

– Потому что врачи ведь всюду нужны, – объяснила она. – Даже и в горнорудном поселке. Золото ведь тоже люди добывают, а они могут заболеть.

– Врачи, может, и всюду нужны, да не всюду штатная единица предусмотрена, – буркнул ее муж. И добавил, понизив голос: – Ты вообще думала бы, что говоришь. Золото добывают... Это никого не касается, что где добывают!

– Но Василий Константинович ведь сам геолог, – смутилась Елена. – Я не думала, что...

– А надо думать, – жестко отрубил ее супруг. – С чем его начальство ознакомит, то ему, значит, и положено знать. А все остальное, соответственно, не положено.

Но, в общем, он испытывал такое явное и постоянное раздражение из-за необходимости ехать в неподобающих условиях, что почти не разговаривал даже с женой и тестем, а на попутчика и вовсе не обращал внимания. Окинул его в самом начале быстрым, оценивающим взглядом и тут же потерял к нему интерес.

Да и Василий не испытывал никакого интереса к Игнатию Степановичу. Если что и казалось ему необычным в этом приземистом, кряжистом человеке с висюльким лицом и недовольно поджатыми бесцветными губами, то лишь наличие у него такой жены, как Елена.

Теперь, когда Василий видел ее перед собою каждую минуту уже два дня подряд, он понимал, что ничего античного в ее внешности нет. Но ощущение небывалости, невозможности того, чтобы в заплыванном вагоне, да что в вагоне, вообще на белом свете, существовала такая женщина, – это ощущение его не покидало. И дело было даже не в том, что она была красивая – мало ли красивых! Она была словно окружена загадочным и вместе с тем до дрожи знакомым облаком, которое казалось Василию таким же осязаемым, как облако ее волос. Волосы у нее были странного цвета – прозрачного серебра. Они доставали до середины щек, и Василию было жаль, что они такие короткие. Вот если бы это прозрачное серебро окутывало ее всю, с головы до ног... Сегодня ночью, лежа без сна на своей полке наверху и прислушиваясь к ее дыханию внизу, он вдруг представил ее, накрытую длинной прозрачно-серебряной волной, и чуть не задохнулся от внутреннего жара, который мгновенно стал жаром внешним, как только он понял, что скрывалось бы под этой волной – узкие, не шире его ладони, плечи, и нежно очерченные бедра, и маленькие, длиною в его ладонь, ступни...

– Сколько вам лет, Василий Константинович? – вдруг спросила Елена.

– Двадцать. – Он ответил не сразу: просто не сразу вспомнил собственный возраст, а точнее, вдруг забыл, что у него есть возраст, что вообще есть у него какие-то внешние приметы, что не весь он – одно лишь странное состояние, в котором нет ничего внешнего, а есть только облик этой женщины, которая тоже и не женщина вовсе, а что-то неназываемое, из чего сейчас весь состоит он сам... Запутавшись в непривычной смуте этих ощущений, Василий даже головой потряс, а потом повторил: – Да, двадцать.

– Я так и подумала, – улыбнулась она. – Только не могла понять, как же вы так рано окончили институт.

– Я рано поступил, – ответил он. – Сразу после училища. Вообще-то надо было на Путиловском заводе отработать, я же на токаря учился, но мне разрешили сразу. Я очень хотел геологом быть, и мне хотелось поскорее. И институт поскорее хотелось закончить, хотя учиться тоже, конечно, было интересно.

– Почему же хотелось поскорее закончить, раз интересно? – с той самой улыбкой, в которой он боялся разглядеть снисходительность, спросила она.

– Потому что мне хотелось уехать. Куда-нибудь далеко. Где все другое.

Он никогда и никому не рассказывал об этом своем желании. Он даже для себя не обозначал его такими простыми и жесткими словами: уехать куда-нибудь далеко, где все другое. Это было его главное желание с тех пор как он осознал, что его жизнь – сплошное и какое-то случайное, какое-то неправильное одиночество.

– От себя не уедешь, Василий Константинович.

– Но вы же пытаетесь, Елена Клавдиевна.

Елена вздрогнула, услышав эти слова, и, помолчав, сказала:

– Я не от себя... У меня другие обстоятельства. Можно, я вас буду по имени звать, без отчества? – вдруг спросила она.

– Конечно! – воскликнул Василий. – Я, знаете, никак не привыкну, что меня по отчеству зовут. Но, правда, мне мое имя как-то не нравится, – смущенно добавил он.

– Почему? – удивилась Елена.

– Не знаю. Просто так. Какое-то оно... Смешное, по-моему.

– Ну что вы! – возразила Елена. – Никакое не смешное, а очень даже красивое. – И вдруг она засмеялась: – А особенно красивое будет от него отчество. Вашим детям повезет! Я когда-то запоем читала Игоря Северянина – был такой поэт, вы, верно, не знаете. И меня просто завораживало его имя-отчество – Игорь Васильевич. Какой он, думала, счастливый: его так красиво зовут... Мне ведь тоже мое имя совсем не нравится. – Она снова засмеялась, сморщив свой тоненький вздернутый нос. – Я его поэтому переделывала как могла, пока папа Люшу не придумал. И, кстати, вы меня тоже по отчеству можете не называть.

– Спасибо, – кивнул Василий. – Но только я Люшей вряд ли смогу... А Северянина я знаю, – торопливо, чтобы скрыть смущение, добавил он. – То есть не знаю, конечно, а просто видел его стихи. Ну, и читал немножко. Но они какие-то нежизненные, по-моему. Про мороженое из сирени...

– У него разные есть, – улыбнулась Елена. – И жизненные тоже. «Деревушка. Из сырца вокруг стена. Там, за ней, фанзы приземисты, низки. Жизнь скромна, тиха, убога, но ясна без тумана русской будничной тоски».

Она произнесла это так, как будто не стихи читала, а просто говорила то, что пришло в душу при взгляде в тусклое окно.

– А дальше как? – тихо спросил Василий.

Он не столько хотел, чтобы она читала дальше, сколько – чтобы она как можно дольше стояла рядом с ним в полутемном тамбуре, и чтобы волосы ее светились так странно, словно бы изнутри, и чтобы нос она морщила так смешно... Папироса была почти докурена, и, значит, Елене не было никакой причины стоять здесь с ним рядом.

– Я вам потом расскажу, – пообещала она. – У него хорошие стихи, поверьте.

– Всего сутки осталось ехать, – сказал Василий.

Кажется, он не сумел скрыть тоску в голосе, хотя и старался.

– Мы с вами за сутки не раз еще покурить выйдем, я и расскажу, – улыбнулась она. И неожиданно добавила: – А может быть, мы и потом с вами когда-нибудь увидимся. Мир ведь тесен, правда? А Средняя Азия тем более.

– Правда, – судорожно сглотнув, ответил он.

Он не верил, что когда-нибудь увидит ее, пусть даже и тесна Средняя Азия. Слишком отчетливым было у него в душе чувство невозможности, даже почему-то потери, когда он на нее смотрел.

– Пойдемте, Васенька. – Елена бросила окурок в ящик с песком, стоящий в углу тамбура. – Надеюсь, папа уже уснул.

– У вашего папы такая фамилия необычная! – неизвестно зачем сказал Василий. То есть очень даже ему известно было, зачем. Затем же, зачем и про стихи Северянина – чтобы задержать ее еще хотя бы на минуту. – Она французская, да?

– Да, необычная, – каким-то неопределенным и торопливым тоном ответила Елена. – Изначально, конечно, французская, но вообще-то папа коренной петербуржец. Красивая фамилия, мне было жаль ее менять.

– А какая у вас теперь?

Он видел, что ей почему-то неприятен и даже тягостен этот разговор, и понятно было, что таким образом никак невозможно продлить общение с нею. Но глупые и никчемные слова сами срывались у него с языка – наверное, от растерянности. Или от отчаяния.

– Крюкова. Теперь у меня фамилия по мужу – Крюкова.

Она отвернулась и, не дожидаясь своего спутника, вышла из тамбура в вагон.

Идя вслед за нею по узкому проходу между полками, Василий чувствовал себя то ли идиотом, то ли наглецом, то ли тем и другим вместе.

Клавдий Юльевич не спал.

– Извини, Люша, мне даже не дремлет, – виноватым голосом сказал он. – Возможно, это из-за близости границы. Я ведь бывал в Афганистане, – повернулся он к Василию. – Хотя занимался не афганской, а персидской литературой. Вот смотрю сейчас в окно и понимаю, что ничего здесь не изменилось... И веков двенадцать, пожалуй, уже не менялось. Да, истинный восьмой век.

Он кивнул на окно, за которым медленно проплывал однообразный каменистый пейзаж. Василий уже перестал обращать внимание на эти долгие то серые, то охристые повторы. Сейчас, в мае, невысокие ближние горы еще пестрели зеленым и алым – травой, маками, тюльпанами, – но и в этом отцветающем разнообразии уже чувствовалась скорая выжженность, пустынность. Только дальние, высокие горы были прекрасны. Стояли себе, неколебимые, и верхушки их были погружены в невозможно синее, словно расплавленное небо.

– Почему же именно восьмой век? – пожала плечами Елена. – Горы, я думаю, от сотворения мира такие.

– Я имею в виду не горы, а человеческую жизнь, – объяснил Делагард. – В нашей части Азии наверняка изменилось многое. А в афганской, уверен, почти ничего. И это очень будоражит, интригует, – снова смущенно улыбнулся он. – Если бы мне прежде кто-нибудь сказал, что меня взбудоражит близость границы с Афганистаном, я, пожалуй, и не поверил бы. А теперь волнует и это. Потому что...

– Папа, не стоит об этом, – резко произнесла Елена. – Граница и граница, ничего особенного. В Термезе остановимся, я кипятик возьму, заварю тебе валерианы.

– Да-да, – торопливо кивнул Делагард и обернулся к Василию: – Что ж, Василий Константинович, я вам много баек порассказал – расскажите теперь и вы мне что-нибудь интересное.

– Да я, наверное, ничего и не знаю такого, чего вы не знаете, – пожал плечами Василий. – Вы, наверное, даже про полезные ископаемые больше знаете, чем я, да и вообще про Таджикистан.

– Вам, Василий Константинович, по-моему, сильно недостает уверенности в себе, – сказал Делагард. И тут же, спохватившись, добавил: – Извините мою назидательность! Иногда как-то забываешь, что старость еще не дает на нее права.

– Ничего, – улыбнулся Василий. – За что же извиняться, если так оно и есть? Ну, может, в Таджикистане уверенности поднаберусь. Совсем ведь все другое будет...

– Совсем другое – это без сомнения, – кивнул Клавдий Юльевич. – Таджикистан – мечта каждого, кто занимается Персией. Впрочем, вы ведь не филолог. Но все равно, чрезвычайно интересная страна и интереснейший народ. Знаете, таджиков ведь называли голубой кровью Востока, и здесь просто кладезь не освоенного наукой материала. Туркестан вообще считался местом контакта многих цивилизаций. Классики геополитики Макиндер и Хаусхофер называли его сердцем мира. Не зря сюда стремились фаланги Александра Македонского! Да и все сюда стремились. На берегах Кафирнигана, можете себе представить, находят развалины буддийских молелен и зороастрийских святилищ. Или вот было, например, такое явление – арабский кукольно-теневогой театр. – Видно было, что, начиная разговор в состоянии скрытого волнения и почти нескрываемой тоски, Делагард постепенно увлекся и снова стал говорить о любимом своем предмете, как говорил и все это время, – так, что Василий слушал его с открытым ртом, как маленький мальчик. – Содержание пьес нетрудно себе представить: обычная плутовская новелла или комедия нравов. Что-нибудь о пьянице-эмире и его прекрасной наложнице, или о хитром заклинателе змей, или о мошеннике-астрологе. И вот, представьте,

среди этих незамысловатых, хотя и трогательных в своей простоте перлов существовала пьеса о юноше по имени Аль-Мутайям. Это имя означает «пленник любви», – пояснил Делгард. – Это была, насколько я понимаю, такая страстная, просто-таки раскаленная история! Как здешнее небо. – Клавдий Юльевич кивнул на окно, и Василий проследил за его кивком так заворуженно, словно до сих пор ему видеть здешнее небо не приходилось. – Аль-Мутайям влюбился в четвертую жену визиря, что мусульманской моралью, естественно, воспринималось как неслыханное преступление, она ответила ему взаимностью... Что происходило потом, история умалчивает, но догадаться нетрудно.

– И чем все кончилось? – спросил Василий.

– Явлением ангела смерти, перед лицом которого Аль-Мутайям должен был покаяться в своем преступлении.

– И он покался?

– А вот это как раз и неизвестно, пьеса-то не сохранилась. Сохранились только свидетельства о том, как горячо народ воспринимал эту историю. Представьте себе, бывало, что артистов забрасывали камнями прямо на рыночной площади! Даже не артистов, а кукол, которые все это разыгрывали, и даже не кукол, а их тени – зритель ведь наблюдал только движение теней. Видно, очень сильная была история, если даже тени ее вызывали такой шквал эмоций, притом в буквальном смысле шквал.

– Неужели все только камнями швырялись? – спросила Елена. – Все-таки, папа, мусульманство – это какой-то ужас. Не понимаю, что тебя в нем привлекло.

– Я и сам не понимаю, – улыбнулся Делгард. – Необычность, может быть. Странность для европейского ума и глубина, европейский ум поражающая. К тому же в Сорбонне арабистика была сильная, и я, конечно...

– Собирай вещи, живо! – вдруг раздалось у Василия за спиной.

– Что случилось?! – Елена вскочила так стремительно, что ударилась головой о верхнюю полку, но совершенно не обратила на это внимания. – Нас... снимают с поезда?..

– С чего вдруг? – удивился Игнатий Степанович. Он появился незаметно и, стоя между полками, смотрел на супругу со снисходительным недоумением. – В Термезе люди сходят – места в спальном освобождаются. Так что живо давай. Как только поезд остановится, надо те места занять, а то какая-нибудь шишка сядет. Я с начальником поезда договорился – он в Термез не сообщил про места. Так что билетов на них не продадут, но побеспокоиться не мешает.

– Хорошо, я сейчас, – сказала Елена.

Как только она узнала, что дело всего лишь в перемене вагона, голос у нее стал спокойный – точно такой, каким она разговаривала с мужем и до сих пор. И этот ее спокойный, бесстрастный тон вдруг показался Василию таким мучительным, таким даже оскорбительным, что у него потемнело в глазах. Хотя кто сказал, что она должна выказывать какие-то эмоции? Да и какие эмоции – недовольство тем, что ее отцу будет удобнее ехать, что ли?

Все было глупо, все неправильно, никчемно, и эта неправильность, словно грубая рука, мгновенно сжала и выжала его сердце.

Он хотел спросить: «Елена Клавдиевна, вам помочь?» Хотел достать ее кофр с багажной полки – она встала на нижнюю полку и приподнялась на цыпочки, но все равно не могла достать этот огромный, из потертой добротной кожи кофр... Хотел, но не мог. Он не мог произнести ее имя таким вот спокойным, как только что у нее, голосом. И не мог представить, что это – все, что вот сейчас, через полчаса, все и кончится. Хотя с самого первого взгляда на эту женщину знал, что все и должно кончиться, не начавшись, что по-другому и быть не может... Она была предназначена для потери, для разлуки, а почему – он не понимал.

Василий встал и, не говоря ни слова, пошел в тамбур, задевая плечами вагонные полки.

Глава 5

Если бы не Матвей, Лоле, конечно, пришлось бы добираться до Москвы поездом. Вернее, если бы не Матвей, она и поездом вряд ли уехала бы, а уж про самолет и вовсе не пришлось бы думать.

Да она и про сам отъезд не думала – рассеянно, как о чем-то не имеющем к ней никакого отношения, слушала, как он объясняет за завтраком, что с вещами возиться не надо, потому что все равно она их вывезти не сумеет, а надо просто закрыть квартиру, спрятав самое ценное у каких-нибудь надежных друзей, и...

– У меня нет надежных друзей, – тряхнув головой, сказала она, придвигая поближе к нему блюдо с разогретым вчерашним пловом. – У меня и никаких друзей нет. Все давно разъехались. Кто жив остался. И вообще, это пустой разговор, и не трать на него время. Ешь лучше – неизвестно, когда пообедаешь.

– Ленка, твое бы упрямство да в мирных целях! – рассердился Матвей. – Сама подумай, ну кому хорошо, что ты здесь сидишь? Друзей, говоришь, нету, родных тем более. Какого... черта ты здесь делаешь, а? Кукол караулишь?

– Ох и стукнула бы я тебя по нахальной твоей башке! – рассмеялась Лола. – Да жалко тебя, солдатика безответного. Ну не могу я все это бросить, как же ты не понимаешь? – уже серьезно сказала она. – Здесь я дома, папа эти книги всю жизнь собирал, да и вообще...

Что «вообще», она уточнять не стала. «Вообще» было то, что здесь, в давно к ней враждебном городе, она все-таки чувствовала хотя бы иллюзию независимости. А что было бы, если бы ей взбрела в голову мысль послушаться Матвея и уехать в Москву? К совершенно чужим людям, неведомая, неожиданная и никому не нужная родственница... Только в его бесшабашную молодую голову могла прийти такая глупость!

– Лен, я тебе все эти книги потом привезу, – решительно сказал он. – Дембельнусь и привезу, честное слово. Можешь даже опись составить! Доставлю под счет, не сомневайся. И кукол тоже.

– Ладно, племянничек, я обдумаю твое предложение, – улыбнулась Лола.

Конечно, ничего она обдумывать не собиралась – просто ей хотелось поскорее закончить этот неприятно жалостливый разговор, а иначе как подобным обещанием от Матвея было не отвязаться.

– Не «обдумаю», а чтоб через три дня – крайний срок через неделю – духу твоего тут не было. Деньги, адрес и телефон я тебе оставлю, – сказал он. – Дашь телеграмму, а лучше позвони, отец тебя в Домодедове встретит.

– Какие еще деньги?! – воскликнула Лола. – Ты что, от недосыпа совсем ничего не соображаешь? Может, еще и на содержание меня возьмешь? Я, между прочим, работаю и в гарем к тебе не собираюсь!

– Ты мне, между прочим, кровная родственница, так что в свой гарем я тебя не приглашаю, – в тон ей ответил Матвей. – И деньги тебе оставляю не на парчу и перлы, а всего только на билет. Не вздумай поездом ехать, черт знает во что по дороге можно вляпаться. Да и в самолете поосторожнее, как бы не подкинули чего. Этим рейсом наркоту возят, так что шмонают его в Москве будь-буди.

Он не обращал на Лолины восклицания никакого внимания и говорил так, словно ее отъезд был делом решенным и оставалось только обсудить подробности.

– Все-таки русские мужчины на Востоке очень быстро осваиваются, – сердито заметила она. – Вот ты – вроде бы воспитанный молодой человек, а пожалуйста, всего два года в Азии, и уже воспринимаешь женщину как бессловесную тварь, которой можно помыкать.

– Если б ты, Ленка, была настоящая восточная женщина, то всю ночь упаковывала бы вещи, как мужчина велел, – хмыкнул Матвей. – А ты вместо этого, не успела проснуться, уже какие-то глупости несешь. Хороша бессловесность! Ничего, – пообещал он, – в Москве теперь насчет феминизма почти как в Америке, так что там тебе самое место. Все, тетушка. – Он отодвинул тарелку и встал из-за стола. – Я в семь обещал вернуться, до штаба час пешком. Учти, Людка скоро в Душанбе собирается, и если она мне доложит, что ты все еще здесь...

– Слушаюсь, товарищ сержант! – отрапортовала Лола.

Сердце у нее так сжалось, когда Матвей обнял ее у порога, и слезы встали у горла таким тяжелым комом, что она обо всем забыла и совсем утратила бдительность.

И вот пожалуйста – убирая со стола, обнаружила под чайником эти его дурацкие доллары, завернутые в тетрадный листок!

«И откуда у него столько?» – сердито подумала Лола, разворачивая пухленькую стопку.

«Деньги не за наркотрафик, не волнуйся, – прочитала она; почерк у Матвея был такой же ясный, как взгляд, и казалось почему-то, что такой же бесшабашный. – Это мне родители с оказией передали, а тратить здесь все равно не на что. Хотел гарем завести, но потерплю. Тетушка, будешь свинья, если не уедешь! Ключи от квартиры оставь у Людкиной мамы и скажи ей, что я приеду за твоими вещами. Не забудь про телеграмму».

И адрес родителей – Малая Дмитровка, двадцать девять...

И когда он только успел написать эту записку? Наверное, когда она разогревала плов, другого времени и не было.

Ничего ей не оставалось, кроме тяжелого вздоха от новой головной боли: где держать эти деньги, пока не приедет Людка, с которой их можно будет передать обратно?

«В театре спрячу, – решила Лола. – Дома все-таки опасно».

Спрятать доллары лучше всего было в реквизите от снятых с репертуара спектаклей; она прятала таким образом зарплату, чтобы не ходить с деньгами по улице. А ехать она никуда не собиралась и вещи кому-то оставлять – тем более.

И не собралась бы, если бы через неделю не оказалось, что ей уже просто нечего оставлять.

Очередь к таможенной стойке двигалась так медленно, словно пограничники и таможенники просвечивали каждого пассажира душанбинского рейса рентгеном. Да, может, так оно и было. Во всяком случае, двух молодых таджиков ни с того ни с сего попросили открыть чемоданы, а одну женщину и вовсе увели в отдельную комнату, и больше она оттуда не вернулась.

Ноги у Лолы затекли, а тоска, лежавшая на сердце все последнее время, стала такой, что казалась гораздо тяжелее, чем сумка с вещами. Впрочем, взятая у тети Зои афганская сумка из потертой кожи была совсем не тяжелая.

От нечего делать Лола разглядывала людей, стоящих перед нею в очереди. Стояли они нестройно, толпились, и лишь у самой стойки выстраивались в ровную, по одному человеку, цепочку. Лола давно уже сторонилась людей, даже знакомых, а уж тем более незнакомых, и поэтому теперь ей почти интересно было видеть так много новых лиц сразу.

Прямо перед ней стояла толстая пожилая таджичка с целым выводком юрких детей. Странно, что она была без мужчины, но мало ли какие странности можно было увидеть в этом городе! Москва меняла каждого, кто в нее попадал, и меняла сразу, еще до того, как человек выходил за таможенную стойку. Это Лола тоже почувствовала сразу, как только вышла из шаткового самолетного «рукава» и оказалась в длинной очереди прибывших. Москва раскачивала человека, как вот этот самый «рукав», и от такой раскачки с человеком что-то сразу же происходило. Он словно бы терял свои прежние связи и переходил в другое состояние – тревожное, нервное, отмеченное обостренностью всех чувств.

Лола и сама не была исключением: из-за этой обостренной тревоги ей казалось, что в глаза у нее вделан такой же рентген, как тот, которым просвечивали багаж. Она видела, например, что стоящая перед ней таджичка сильно волнуется, но не из-за детей и даже не из-за того, что оказалась одна в толпе посторонних людей, а из-за чего-то совсем другого. Лола не понимала, как она все это видит, и вообще видит ли или понимает как-нибудь иначе. Но ощущение было таким отчетливым, словно таджичка сказала ей об этом вслух.

– Зря мы сюда поперлись, Роман Алексеич, – услышала Лола. – Через vip-зал давно б уже дома были.

На этот раз она действительно просто услышала слова, а не почувствовала и не увидела их каким-то странным, никчемно ясным зрением. Их произнес мужчина, стоящий в очереди перед таджичкой. Он был не то чтобы высокий, но весь какой-то плотный, как туго набитый матрас. Широкий такой матрас, поставленный на попа рядом с другим мужчиной, такого же роста, но поуже. От этого второго мужчины просто исходило ощущение особенной значительности, и потому его стояние в очереди казалось таким же странным, как его дорогой, стального цвета плащ на фоне пестрого таджикского тряпья.

– Стандартно мыслишь, – ответил он. – Может, и быстрее, хотя тоже не факт. Но с меньшей пользой. Или вообще во вред.

Голос у него был спокойный, даже бесстрастный.

– Больно много пользы с чурками в очереди тереться! – хмыкнул «матрас» и тут же зло прикрикнул: – К-куда лезешь? Еще заразит, выbleддок, какой паршой или чесоткой.

С этими словами он точным движением отшвырнул в сторону таджичонка, который в очередной раз отбежал от матери и завертелся рядом с мужчиной в стальном плаще. Тот обернулся, окинул таджичонка холодным взглядом и пожал плечами – мол, мне все равно. Лицо у него было бледное, но не болезненно, а аристократически бледное. Во всяком случае, именно такой Лола представляла себе аристократическую бледность, когда читала о ней в романах Дюма.

Но и холодный взгляд, и стальной плащ, и бледность она заметила как-то мимолетно, словно бы краем собственного взгляда. Или – не краем, а просто своим обычным взглядом, которым смотрела всегда. Тем же особенным взглядом, который тревожными импульсами шел откуда-то у нее изнутри именно сейчас, она заметила не плащ, не бледность и не холодность этого человека, а неожиданную опасность, которая вдруг, совершенно ни с того ни с сего, оказалась с ним связана. Почему так произошло и что это вообще за опасность, Лола не поняла, но ощущение было просто до болезненности острым.

Она огляделась, пытаясь сообразить, отчего возникло это ощущение. Но все было как и минуту назад: дети галдели, взрослые переговаривались и передвигали чемоданы; очередь пошла быстрее.

Лола прикрыла глаза – и тут же поняла, что именно случилось минуту назад. Она отчетливо – вряд ли так, как это было в то мгновение, когда происходило в реальности, – увидела грязную ручку таджичонка, быстро юркнувшую в боковой карман стального плаща и так же быстро оттуда вынырнувшую. Вынутая из кармана рука была пуста – мальчишка ничего не взял. Но зачем-то ведь он проделал это виртуозное и совершенно неразличимое движение?

Лола открыла глаза. До таможенной стойки ей оставалось пройти метра три, не больше. Перед «матрасом» и его спутником – ясно, что начальником, – оставался в очереди всего один человек, да и тот уже забрал свой паспорт у пограничника и что-то объяснял таможеннику.

Лола обошла таджичку с детьми, которых та наконец собрала в тесную кучку, и подошла к мужчине в стальном плаще почти вплотную.

«Сейчас и меня отшвырнет», – подумала она, заметив угрожающее движение, сделанное в ее сторону «матрасом».

Но прежде чем его рука коснулась ее плеча, Лола негромко произнесла, глядя прямо в глаза обернувшегося к ней человека:

– Вам что-то положили в карман. Только что. Мне кажется, будет лучше, если вы проверите, что именно.

Мужчина вглядывался в Лолино лицо не больше пяти секунд; взгляд его при этом оставался таким же бесстрастным, как и до ее сообщения. Потом он коротко кивнул, достал из внутреннего кармана плаща носовой платок и, мгновенно обернув им руку, опустил ее в боковой карман. Потом быстро вынул руку из кармана, уронил платок, сразу поднял... Лола увидела, что на том месте, куда упал платок, остался лежать прозрачный пакетик с чем-то белым внутри. Что это такое, догадаться было нетрудно, во всяком случае, ей: героин она видела в Душанбе едва ли не чаще, чем сигареты.

Не глядя на Лолу, мужчина сказал своему остолебневшему спутнику:

– Сеня, бери чемоданы – приехали.

И шагнул к таможенной стойке.

Лола вглядывалась в бесчисленные аэропортовские табло, пытаясь понять: куда ей надо идти, чтобы попасть на тот самый экспресс, на котором, как объявили еще в полете, можно по самолетным билетам бесплатно доехать до метро? Ей нужна была станция «Дмитровская», потому что поблизости от этой станции, как откуда-то знала тетя Зоя, находилось несколько рабочих общежитий, в которые за сравнительно небольшую плату можно было устроиться на ночь. Что она будет делать потом, когда уже устроится – если вообще устроится – в общежитие, Лола совершенно не представляла. Но сейчас она об этом и не думала... Ее охватила такая паника и такой леденящий страх, какого она никогда не испытывала в жизни!

«Ну почему я, дура такая, в самом деле телеграмму не дала, не позвонила? – дрожа, словно от холода, тоскливо думала она. – Что за храбрость, что за гордость такая идиотская?!»

Она не знала, как правильно назвать то чувство, которое не позволило ей сообщить о приезде своим неизвестным родственникам. Но если бы они каким-нибудь чудом оказались сейчас здесь, в Домодедове, то она бросилась бы к ним как к самым близким людям. Она просто не представляла, что одиночество в огромном враждебном городе – еще и не в городе даже, а только в аэропорту – окажется таким ужасным и вся ее воля мгновенно будет этим ужасом парализована!

«Может, лучше прямо отсюда на Малую Дмитровку поехать? – тоскливо подумала она. – Далеко это, интересно? Или все-таки сначала до «Дмитровской» добраться, может, это рядом – названия похожи...»

При чем здесь «Дмитровская», почему она уцепилась именно за это название, такое же незнакомое, как любые названия улиц и станций этого пугающего города, Лола не знала. Просто вертелось что-то в разом опустевшей голове.

– Девушка, кто вас встречает? – вдруг услышала она.

И вздрогнула, как будто над нею раздался трубный глас.

Однако глас был хотя и басистый, но отнюдь не трубный. Стремительно обернувшись, Лола увидела всего-навсего «матраса» по имени Сеня. Она потеряла из виду Сению и его начальника сразу же, как только те прошли контроль. А потом, растерявшись при мысли, что ей предстоит как-то устраиваться в этом жутком городе, и вовсе про них забыла. И вот теперь, словно из-под земли вынырнув, Сеня интересовался, кто ее встречает.

– Никто, – машинально ответила Лола. И тут же спохватилась: – А вам какое дело?

– Тогда пойдемте, – сказал он и, прежде чем она успела возразить, взял ее под руку.

Хватка у него была такая, что Лоле показалось: если она попытается высвободить руку, то он ее просто сломает.

– Куда это – пойдемте? – все-таки воскликнула она и сама услышала, как жалко, с дрожью звучит ее голос.

– В машину. Поговорить надо.

Не снисходя больше до объяснений, Сеня зашагал к выходу на улицу. Лола заскользила с ним рядом по гладкому полу; ноги не слушались ее.

Сеня открыл перед ней заднюю дверь машины – какой именно, Лола не поняла, успела только разглядеть, что черной и длинной, – и толкнул ее в салон. Сам он уселся на переднее сиденье рядом с шофером и предупредил:

– Двери заблокированы, дергать не надо.

– Здравствуйте, – услышала Лола. – Итак, я вас слушаю.

Человек в стальном плаще сидел рядом с ней. Впрочем, не совсем и рядом: салон был так просторен, что их разделяло довольно большое расстояние. И с этого расстояния было видно, как холодно поблескивают в полумраке его глаза.

– И что же вы хотите услышать? – поинтересовалась она.

Наконец-то вместо ужаса она ощутила собранность и такую же, как у собеседника, холодность, которые вообще-то и были ее главными жизненными состояниями. Почему это вдруг произошло, Лола не поняла, но ей стало почти весело. Она словно бы встретилась с собой прежней, с собой всегдашней, и обрадовалась этой встрече.

– Хочу услышать, кто вам поручил за мной следить и какие последствия это будет для меня иметь.

– Мне никто ничего не поручал, – пожала плечами Лола. – Я увидела... То есть не совсем увидела, но это неважно. Можно считать, что увидела, как мальчишка что-то положил вам в карман. На этом рейсе могут подбросить наркотики, меня об этом предупреждали. И я решила предупредить вас.

– Кто вас предупреждал? – Его голос прозвучал настороженно.

– Какая разница? Этот человек не имеет к вам никакого отношения.

– Как знать, – усмехнулся собеседник. – Полчаса назад вы тоже не имели ко мне никакого отношения.

– А сейчас, по-вашему, имею? – с такой же, как у него, усмешкой спросила Лола.

– Уверен. Хотя вы упорно это отрицаете. Ну, неважно. Как вас зовут?

– А вам не кажется, что, прежде чем задавать этот вопрос, надо представиться самому?

– Кажется. Но еще мне кажется, что вы и сами прекрасно знаете, кто я. Ваше имя? – повторил он.

Лола поняла, что спорить с ним бесполезно. К тому же паспорт лежал у нее во внутреннем кармане пальто, и она была уверена, что для Сени не составит ни труда, ни стеснения в одно мгновение его оттуда извлечь.

– Елена Васильевна Ермолова.

– Елена Васильевна? – переспросил он. – Странно. У вас что-то восточное есть во внешности. Какая-то почти неощутимая, но довольно эффектная перчинка. Откуда?

– Может быть, нарисовать мое генеалогическое древо? – сердито спросила Лола.

– Сеня, дай Елене Васильевне бумагу и ручку.

– Послушайте, вам что, больше нечего делать? – Он все-таки вывел ее из себя! – Зачем вам мое генеалогическое древо? Или вам просто доставляет удовольствие надо мной издеваться?

– Еще раз повторяю: я пытаюсь понять, кто вы такая и что вам от меня надо.

– От вас мне надо только одного: чтобы вы немедленно выпустили меня из машины.

– Прямо на ходу?

Только теперь Лола заметила, что машина не стоит на месте, а плавно и бесшумно едет и, наверное, уже давно, потому что за окнами мелькают не аэропортовские строения, а придорожные деревья.

– Куда вы меня везете? – воскликнула она.

– В город. А по дороге, надеюсь, вы объясните мне более подробно, куда именно вам надо попасть и зачем.

– А если не объясню?

– Тогда я отвезу вас туда, куда сочту нужным.

Лола не знала, что на это ответить. Перед этим человеком она была так же беспомощна, как перед городом, в который он ее вез. Это была данность, не признавать которую было бы глупо.

– Хорошо, – кивнула она. – Я объясню. Только это действительно не имеет к вам никакого отношения. Вообще-то мне не надо никуда и низачем...

Машина бесшумно неслась вперед, рассекая октябрьские сумерки и незаметно начавшийся дождь. Выражение холодных глаз собеседника не менялось во время Лолиного короткого рассказа.

– Почему же вы не позвонили родственникам? – спросил он, когда она замолчала.

– Вы ничего не поняли, – вздохнула Лола. – Вот вы – стали бы вы обращаться к незнакомым людям с просьбой устроить вашу жизнь?

– Я – не стал бы.

– Почему же вы думаете, что стала бы я?

Впервые в его глазах мелькнуло что-то похожее на чувство. Вернее, на отблеск какого-то внятного чувства – удивления.

– Но ведь вы – не я... – произнес он.

В его голосе не слышалось уверенности. Лола сдержала смех.

– На Николину, – скомандовал он шоферу. И, снова обернувшись к Лоле, сказал: – Меня зовут Роман. Будем знакомы.

Глава 6

Дом был безупречен.

Лола ожидала увидеть все что угодно: краснокирпичный замок под медной крышей – она слышала про эти образцы нуворишеской безвкусицы, – долговязую бетонную башню, еще какую-нибудь махину размером с самолетный ангар, – только не это прекрасное, деревянное, цвета червонного золота строение. Оттого, что все окна были ярко освещены, ощущение глубокого, золотого покоя, исходящего от этого дома, усиливалось многократно.

Только когда въезжали в ворота, Лола заметила, что их машина движется в сопровождении двух других машин. Выходя из нее, она увидела, что впереди массивного «Мерседеса» остановился еще более массивный джип, а позади – вообще что-то невообразимое, напоминающее бронетранспортер.

Но дом был прекрасен, как редкостная драгоценность.

Невысокий, всего в два этажа, он раскинулся на просторной поляне под березами и соснами так, словно вырос прямо из устланной разноцветными листьями и влажными от дождя иголками земли как что-то живое. Внизу его поддерживали тонкие деревянные колонны, а весь верхний этаж был окружен балюстрадой. Изгибаясь, она образовывала то широкие открытые балконы, то округлые застекленные «фонари», за которыми мерцали бесчисленные огоньки – Лоле показалось, что свечные.

Если бы рядом с ней шел по дорожке к дому не этот, а любой другой человек – любой из тех, кого она знала до сих пор, – она непременно сказала бы, что ее поразили этот дом. Но высказывать какие-либо чувства Роману казалось ей неуместным.

– Посидите пока вон там, в холле, – сказал он, пропуская ее перед собою в прихожую, тоже отделанную золотистым деревом. – Вам приготовят спальню, а потом мы поужинаем.

– Зачем же спальню? – вздрогнула Лола. – Я...

– Устраиваться в общежитие сегодня уже поздно. Вы успеете это сделать завтра с утра. Я вернусь через полчаса.

И, не глядя больше на Лолу, Роман пошел вверх по деревянной лестнице, которая спиралью завивалась вокруг столба, стоящего посередине огромного холла.

– Пальто снимай, – проводив начальника взглядом, сказал Сеня. – У нас тут тепло, небось не замерзнешь. Надо будет, еще и камин растопим. В общем, сиди пока, жди.

Лола думала, что он тоже куда-нибудь уйдет, предоставив ей осматриваться в одиночестве. Но Сеня и не подумал уходить. Он уселся в широкое кресло, придвинул к себе журнальный столик и принялся листать один из лежащих на нем пестрых журналов.

– Садись, садись, – повторил он, заметив, что Лола по-прежнему стоит посреди холла. – В ногах, люди говорят, правды нет.

– Где моя сумка? – спросила она.

Сумку как-то незаметно взял у нее из рук один из мужчин, сопровождавших Романа в дом.

– Контроль проходит, – усмехнулся Сеня. – Кто тебя знает, чего ты в нее напихала. Я и тебя бы хорошенько проконтролировал, да пока что команды не поступало.

– Может, мне вообще все с себя снять, не только пальто? – поинтересовалась Лола.

– А чего – снимай! – хмыкнул Сеня. – Добровольное, так сказать, сотрудничество со следствием. Я, куколка, в такие случайности не верю, – жестко добавил он. – Вроде чего-то там увидела, дай скажу... Мы в эту поездку как Штирлицы собирались – никому ни гугу, на рейсовом самолете затраханном, как будто своего нету. Как не навернулись еще... А тут вдруг наркоту в карман суют, а потом на выходе хуже, чем таджиков, шмонают, только что в задницу не лезут! Скажешь, тоже случайность?

– Не знаю, – пожала плечами Лола. – Меня это не интересует.

– Кому-нибудь другому расскажешь. И что это он придумал, первую встречную поблядушку с улицы в дом тащить! – покрутил головой Сеня. – Ладно, у начальства свои причуды. Только учти: я с тебя глаз не спускаю, так что лучше без фокусов.

Ей не верилось, что все это происходит с нею. Эти подозрения, эти угрозы казались ей такими же невероятными, как расчерченная тонкими деревянными рамами стеклянная стена, за которой в темной сумеречной дымке виднелись только поле да роща... Как необозримый холл и спиральная лестница, ведущая неизвестно куда. Как тускло поблескивающие красноватым деревом полы. Как все, что с ней произошло за последние полтора часа.

– Елена Васильевна, вы можете подняться наверх, – услышала она у себя за спиной. – Я вас провожу.

Обернувшись, Лола увидела женщину лет пятидесяти, одетую в темно-синее платье. Та смотрела на нее без любопытства, с отстраненной вежливостью.

– Пусть мне вернут сумку, – сказала Лола. – Мне даже руки нечем помыть.

– Вам все приготовлено, в том числе и мыло, – ответила женщина. – И сумка ваша уже наверху. Вы можете пройти со мной.

Никогда еще Лоле не приходилось видеть, чтобы обычная домашняя жизнь была отлажена так ровно и бесстрастно. Внутри этого красивого дома словно бы работал какой-то надежный механизм, и люди были такой же частью этого механизма, как то приспособление, с помощью которого – Лола видела – бесшумно закрылись ворота, как только в них въехали машины.

– Хорошо, – сказала она и пошла вслед за женщиной по той же винтовой лестнице, по которой несколько минут назад поднялся хозяин этого безупречного дома.

– Вы поступили глупо и бездарно. Было бы смешно вам этого не сказать, а я не люблю выглядеть смешным.

В этом Лола как раз не сомневалась. Представить, что он мог бы выглядеть смешным, было просто невозможно.

– Что же бездарного в моем отъезде оттуда? – пожала плечами она. – По-вашему, я должна была сторожить родное пепелище, пока в следующий раз вместе с квартирой не сожгли бы уже и меня?

Она вспомнила, как зияли темными провалами окна с лопнувшими от жара стеклами, и невольно вздрогнула.

– Вы не должны были бросаться в никуда. – Роман отставил бокал с недопитым вином; карминные блики завораживающе заволновались на скатерти. – Вы не мальчишка-беспризорник, который мчит в хлебную Москву на попутных электричках.

– Я прилетела на самолете.

– В вашем возрасте пора понимать фигуральные выражения.

Лола хотела что-нибудь на это ответить, но только бестолково вздохнула. Она никогда не видела таких людей и не знала, как себя с ними вести. Что отвечать человеку, который заявляет тебе в лицо, что ты немолода, глупа и бездарна?

– Ешьте салат, – словно не замечая – а может быть, и в самом деле не замечая – ее растерянности, сказал Роман. – Мясо будет готово, я думаю, минут через пять.

Когда, в самом начале ужина, он спросил, какое мясо и какое вино она предпочитает, Лола не сразу нашлась с ответом. Она словно забыла на мгновение, что у нее вообще могут быть какие-то предпочтения... Как она себя ни уговаривала, что, мол, нет ничего необыкновенного ни в белоснежной спальне – ей показалось, что она вошла внутрь лилии и лепестки плотно сомкнулись над нею, – ни в ванной цвета топлёных сливок, которая к этой спальне примыкала, чувствовать себя совершенно невозмутимой ей не удавалось. К тому же у нее не было одежды для торжественных случаев, поэтому ее подготовка к ужину заключалась лишь в том, что она помыла руки.

– Приготовят баранину, – не дождавшись ответа, сказал Роман. – Я не ем другого мяса.

Лола тогда мельком взглянула на камин – не в нем ли эту баранину собираются готовить? Но в камине только потрескивали жаркие березовые дрова и никакого мяса, конечно, не было.

Она была уверена, что взглянула на камин совсем незаметно. Роман, однако же, все прекрасно заметил и усмехнулся:

– Вы хотите, чтобы мясо жарили прямо здесь? В этом нет никакой романтики, только посторонние запахи, которые гораздо уместнее на кухне.

– А почему вы едите только баранину?

Чтобы хоть что-нибудь сказать, она сказала очередную глупость и сразу это поняла.

– По гемокоду.

Спрашивать, что такое гемокод, Лола не стала. Скорее всего, это было что-то общеизвестное – здесь, конечно, общеизвестное, в Москве, – и ей не хотелось еще раз демонстрировать свою неосведомленность.

В те полчаса, которые прошли за уставленным закусками столом, она ни одной минуты не чувствовала себя не то что раскованной, но хотя бы относительно спокойной. К счастью, ей по крайней мере не приходилось опасаться того, что она неправильно воспользуется столовыми приборами. По просьбе папы Лола ела ножом и вилкой с тех пор, как вообще научилась держать их в руках. Папу тоже научили ими пользоваться года в три, когда он посещал детскую группу пожилой дамы Греты Гансовны, жившей по соседству с его отцом на Садовой-Триумфальной улице. До революции Грета Гансовна окончила курсы Фребеля, занимавшиеся подготовкой домашних педагогов; по фребелевской системе она и воспитывала детей, отдаваемых ей на попечение.

И все-таки Лола поймала себя на том, что, попробовав маслины, обрадовалась, что в них нет косточек: она не знала, что с этими косточками делать – класть прямо на край своей тарелки или искать какую-нибудь другую тарелку, специально для косточек предназначенную? Поняв, что от незнания таких вещей ей неловко, она рассердилась на себя еще больше.

А теперь этот самовлюбленный барин еще учит ее, должна она была бросаться в никуда или не должна!

– Ваша фигуральность очень незамысловата, – сердито сказала она. – А ваши поучения совершенно неуместны. Я не собираюсь вам отчитываться ни в своих поступках, ни в намерениях.

– Я вас об этом и не прошу. Но догадаться, что с вашими исходными данными – я имею в виду и внешность, и материальные возможности – в мегаполисе вас ожидает только панель, согласитесь, вам было бы не так уж и трудно. Если бы вы хоть пять минут подумали, прежде чем гордо отказываться от помощи каких ни на есть, а родственников. Именно панелью дело и кончится, когда вы устанете мыть полы в овощных магазинах спальных районов. Потому что, учтите, мыть полы в приличном супермаркете вас без московской регистрации не возьмут. Это произойдет примерно через три месяца. Нет, с вашей амбициозностью, пожалуй, через четыре, – смерив ее взглядом, уточнил он. – Советую вам купить газету бесплатных объявлений и устраиваться в бордель сразу – вас возьмут даже в элитный. Это гораздо безопаснее, чем стать бордюрицей и ловить клиентов у обочины.

– Как доехать до города?

Лоле показалось, что она не проговорила эти слова, а прошипела.

– Можете обзванивать бордели прямо отсюда, – невозмутимо разрешил Роман. – Я пошлю кого-нибудь за газетой.

– Я не звонить собираюсь, а уехать. – Лола сначала произнесла это объяснение, а уж потом сообразила, как глупо оно звучит. – Немедленно! – Это восклицание прозвучало еще глупее, и она разозлилась так, что почувствовала, как у нее вздрагивают губы.

– Ваши желания меня не интересуют. И я не обязан предоставлять машину по первому вашему требованию. Общественного транспорта здесь нет, так что вам придется остаться до завтра.

Он говорил тем же ровным тоном и смотрел на нее тем же холодным взглядом. Он как будто бы и не заметил, в какую ярость она пришла. Да и не «как будто бы», а действительно не заметил: ему было до нее не больше дела, чем до таджичонка, который подбросил в его карман наркотики.

И снова, как при первом, еще в машине, разговоре с этим человеком, его бесстрастность подействовала на Лолу совершенно противоположным образом, чем он, возможно, ожидал. Глядя в его лицо, на котором не дрогнула ни одна черта, она почувствовала, что не разъяряется еще больше, а, наоборот, успокаивается. Правда, успокаивается примерно так же, как если бы ее окатили ведром холодной воды, но это уже неважно. Главное, ей и самой становится совершенно безразлично, что думает о ней этот ко всему безразличный человек.

– Что ж, придется остаться, – пожала плечами Лола. – Вы действительно не обязаны давать мне машину. Вы вообще, видимо, очень заботитесь о своем удобстве, – насмешливо добавила она.

– Конечно, – согласился он. – А по-вашему, я должен заботиться о чужом удобстве? Учтите, если вы станете таким образом подходить ко всем тем людям, которых встретите в ближайшее время, вас ожидают многочисленные разочарования. – И, прежде чем Лола успела сказать, что никаких очарований насчет людей, с которыми ей предстоит встречаться, она и без его советов не питает, Роман сказал: – Кстати, забота об удобстве – это первый признак цивилизации. Вот, к примеру, этот стол. Да-да, этот, за которым мы сейчас сидим. – Он постучал по отливающей бронзой скатерти. – Его высота от пола до столешницы – ровно семьдесят шесть сантиметров.

– Почему именно семьдесят шесть? – невольно улыбнулась Лола.

Она вдруг почувствовала в его педантизме что-то наивное, и ей стало почти весело.

– Потому что, согласно расчетам кривой Гауса, человек среднего роста, когда сидит за столом, должен, согнув руку, свободно положить ее на столешницу.

– И вы вычерчивали кривую Гауса, прежде чем купить этот стол?

Теперь она уж просто еле сдерживала смех.

– Ее вычертили английские мебельщики в девятнадцатом веке. А я склонен им доверять. Да и в нашем отечестве до определенного периода тоже относились к своему делу иначе, чем это принято теперь. Вон тот чайный столик, видите? – Он указал на противоположный камину угол гостиной. – Его сделали в восемнадцатом веке на Тульском оружейном заводе. И, при абсолютной своей оригинальности, он так же безупречен, как любой классический английский стол. Что является поводом для патриотизма. Одним из немногочисленных поводов, – добавил он.

Только теперь Лола вдруг догадалась, почему ей кажутся такими необычными его глаза. Они не имели цвета. Это было так странно, что казалось и вовсе невозможным, но это было так. Глаза у него были перламутровыми – они переливались разными цветами, ни один из которых нельзя было отчетливо обозначить, и поэтому выглядели совершенно непроницаемыми.

– А я думала, это современный столик, – отрываясь от изучения перламутровых глаз, сказала она. – Я как-то не связывала такие вещи с восемнадцатым веком.

– И тем не менее это личный чайный столик Екатерины Великой. Хотя выглядит, согласен, как очень стильный хайтек. Но это потому, что он сделан из стали и бронзы. Воздушная работа, приятно смотреть.

Никакого восторга по поводу необыкновенного столика в его голосе, впрочем, не послышалось.

– Да у вас тут прямо Эрмитаж, – заметила Лола. – Дом тоже в восемнадцатом веке построен?

– Дом построен год назад. Из канадского красного кедра.

– Весь – из канадского кедра? – поразилась она. – Неужели поближе дерева не нашлось?

– Любое другое дерево дает усадку, поэтому в течение как минимум десяти лет меня ожидала бы жизнь с перекошенными окнами и незакрывающимися дверями. А канадский кедр – лучший строительный материал. К тому же на сосновые смолы у меня аллергия, а на кедровые нет. Но в отделке, конечно, использован не только красный кедр. Еще сосна Дугласа и белый клен.

– И как вы только живете? – сказала Лола. – Просчитанность каждого вашего шага может свести с ума. Вас свести, – уточнила она.

– Меня свести с ума невозможно. А живу я прекрасно. Потому что сам определяю законы, по которым мне удобно жить. Да, кстати, мне почему-то кажется, что вы кривите душой, когда недоумеваете по поводу излишней просчитанности моей жизни. Вы не похожи на женщину, которой свойственна импульсивность.

– Это правда, – кивнула она. – И это меня несколько не угнетает.

Тут в гостиную вкатился столик, на котором стояло блюдо с мясом. То есть, конечно, столик вкатился не сам собою – его ввезла та женщина в синем платье, которая час назад проводила Лолу в спальню.

– Роман Алексеевич, мне нарезать мясо или вы сами? – спросила она, останавливая столик в нескольких шагах от большого стола.

– Сделайте вы, – ответил он, но тут же спросил Лолу: – Может быть, вы хотите нарезать мясо?

– Ни малейшего желания, – пожала плечами она. – Или это является знаком какой-то особой привилегии?

– В моем доме ни у кого нет никаких привилегий.

Бесчисленные маленькие лампочки хрустальной люстры, висевшей над столом, множились в точно таких же хрустальных бокалах, огоньки сияли в столовом серебре, и все это вместе создавало у Лолы впечатление абсолютной нереальности происходящего с нею. Чтобы развеять это неприятное ощущение, которое казалось ей похожим на помешательство, она придвинула к себе бутылку вина в надежде на легкое винное головокружение. Придвинула – и засомневалась: вино в этой бутылке оказалось белым и, значит, к мясу не подходило.

– Пейте какое хотите, – сказал Роман. – Разнарядка вин по мясу и рыбе – это такой же идиотский предрассудок, как сумочка в тон туфлям.

Лола была уверена, что мысль о мясе и вине промелькнула у нее в голове в одну секунду и не успела оформиться даже в мимолетное движение.

– С вами страшно находиться рядом, – сердито сказала она. – Вы читаете мысли, а это очень неприятно.

– Когда ваши мысли приобретут достаточно своеобразия, чтобы не читаться у вас на лбу, эта неприятность исчезнет.

– Давайте прекратим говорить обо мне.

– А о чем еще мне с вами говорить? – поморщился Роман. – У нас нет общих тем для разговора, а сами вы все-таки новое лицо в поле моего зрения, поэтому на некоторый период привлекаете мое внимание.

– Надеюсь, этот период скоро закончится... – пробормотала Лола. – Расскажите лучше еще что-нибудь про... Да вот хоть про люстру! Это у вас лучше получается.

– Вы правы, предметный мир гораздо интереснее, чем человеческий, – согласился он. – Кстати, есть журнал «Предметный мир», очень профессионально делается, если хотите, можете почитать перед сном, я его получаю. А люстра эта из Вены, стекольной фирмы «Лобмайер»,

она лет двести уже существует, если не больше. Бокалы тоже оттуда. Видите, ничего лишнего – никаких дурацких финтифлюшек, даже насечки нет, только чистое стекло. Это и есть настоящая роскошь, которую только в Вене и найдешь. – Он прикоснулся к шарообразному, на тоненькой высокой ножке бокалу, в который Лола так и не налила белого вина. – Если вы его толкнете – вот так, прижимая ладонью к столу, – то он будет качаться ровно сколько-то секунд. Я забыл, сколько именно.

– Неужели забыли? – Лола не сдержала улыбку. – Даже не верится!

– Если вам необходимо это знать, я могу посмотреть точно. У меня есть каталог, я время от времени выписываю у «Лобмайера» посуду. А пока ешьте мясо, оно уже у вас на тарелке.

Заглядевшись на люстру и бокалы, Лола не заметила, как женщина разложила мясо по тарелкам и вышла из комнаты. Впрочем, та, наверное, была специально обучена быть незаметной.

– Тарелка тоже от «Лобмайера»? – еле сдерживая смех, поинтересовалась Лола.

– «Лобмайер» – это только стекло, – не реагируя на ее насмешливый тон, ответил Роман. – А фарфор от «Аугартена». Тоже из Вены. Рисунок на этом сервизе называется «Мария Терезия», а есть еще «Венская роза». Это два знаменитых мотива, такие сервизы поставляли к императорскому двору.

– Все это очень интересно, но я от вас устала, – сказала Лола. – Вы держите меня в каком-то странном напряжении, которое мне совершенно не свойственно.

– Можете идти спать, – пожал плечами Роман. – Я вас не задерживаю. Сейчас принесут десерт. Кофе я не пью, но вы можете выпить.

– Нет, спасибо, – отказалась она. – Не надо ни десерта, ни кофе. Я, наверное, устала просто так, от дороги, а не от вас. Извините.

Глава 7

Спальня не случайно с первого же взгляда показалась ей похожей на лилию. Теперь, лежа в постели под невесомым, но теплым одеялом и разглядывая при рассеянном свете ночника стены и потолок, Лола заметила, что они отделаны не обоями, а серебристо-белым шелком. Рисунок на этом шелке все-таки был, и именно в виде лилий, но он был только набит на ткань, не отличаясь от нее по цвету.

Хотя Лола действительно чувствовала какое-то непонятное напряжение в обществе хозяина всего этого великолепия, все-таки она была ему благодарна. И даже не за неожиданный ночлег и изысканный ужин, а за то ощущение холодного внутреннего равновесия, которое он ей незаметно вернул. Вся ее недавняя растерянность, такая непривычная и неприятная, исчезла бесследно, и Лола наконец могла спокойно обдумать свое будущее.

Правда, ничего обнадеживающего это обдумывание ей не принесло. Если не прятать голову в песок, надо было признать, что Роман абсолютно прав: ее самостоятельное обустройство в Москве невозможно. Вернее, возможно, но именно тем способом, который он сразу же ей назвал: устройством в бордель.

Лола знала, что ее внешность выразительна и необычна, и не испытывала по этому поводу ни малейшей радости. Потому что вся эта никчемная выразительность вела только к одному – к жадному мужскому интересу, который она ощущала постоянно. Кстати, общение с Романом было сравнительно приемлемым еще и потому, что как раз с его стороны она ничего подобного, к счастью, не ощутила. Но все остальные... Конечно, может быть, московские мужчины не станут бросаться на нее прямо на улицах, как это готовы были делать, да и делали, таджики с их вечной сексуальной озабоченностью. Но то, что любая ее попытка устроиться хоть на какую-нибудь работу сразу же будет направлена в постель, – это Лола понимала прекрасно. А значит, следовало решить, как она должна к этому относиться. Относиться здесь, в Москве, потому что, как относиться к этому в Душанбе, она знала: пореже выходить на улицу и отгородиться от всего белого света решетками. Правда, это и в Душанбе недолго ей помогало, а теперь у нее не было даже окон, на которые эти решетки можно было бы поставить, так что прежние правила становились недействительными.

«В общем-то, он дал мне абсолютно правильный совет, – холодно, как о посторонней, подумала Лола. – Лучше сразу начать этим зарабатывать, чем сперва лечь под коменданта какого-нибудь общежития бесплатно, ради крыши над головой, а потом все равно прийти к тому же самому заработку».

Мысль была такой отчетливой и такой пугающе здравой, что Лола выключила ночник: показалось, эти слова звучат словно бы не внутри у нее, а откуда-то со стороны, и стыдно было слушать их при свете – как будто в спальне находился кто-то, их произнесший.

Но в спальне стояла тишина, а теперь еще и темнота.

«Не по объявлениям же, в самом деле, звонить, – продолжала рассуждать Лола; от этих рассуждений ею снова стал овладевать страх. – А как тогда? К обочине выйти? Хватит! – приказала она себе. – Так и свихнуться недолго. Завтра поеду на эту «Дмитровскую», поищу какое-нибудь общежитие. С комендантом... Да прекрати же ты! – Она рассердилась на себя уже все-рьез. – Или лучше к родственникам? Да какие они мне родственники... Но все-таки...»

– Что делать завтра, можно завтра и решить, – вдруг услышала она. – Вы ведь, помнится, даже от кофе отказались, так хотели спать. Почему же не спите?

Лола вздрогнула и стремительно села на кровати.

– Вам никогда не говорили, что, входя в комнату к женщине, надо стучаться? – сказала она в темноту. – Врывается бесшумно, как... как... – Она хотела сказать «как кот», но не

сказала: он совсем не походил на это уютное животное. – Как хищник! – сердито проговорила она наконец.

– Я подумал, что вы, скорее всего, не спите. И, как видите, не ошибся.

Его голос звучал в темноте так же невозмутимо и отстраненно, как при свете венской люстры.

– Вас это совершенно не касается, – пробормотала Лола, включая ночник.

Ей было неприятно разговаривать с ним в темноте: почему-то показалось, что это только она его не видит, а он видит ее прекрасно – в самом деле, как какой-нибудь сильный и непредсказуемый зверь.

– Почему же? – В рассеянном ночном свете его переливчатые, как ракушечные створки, глаза выглядели еще более бесстрастными. – Я тоже устал с дороги – она оказалась гораздо беспокойнее, чем я ожидал, – и тоже не сплю. Для нас обоих будет гораздо полезнее снять напряжение естественным физиологическим путем, чем снотворным.

– Вы просто... просто... – Лола задохнулась от возмущения.

– Не тратьте время на слова, – посоветовал он. – Про хищника я уже слышал. Лучше решайтесь поскорее, я же не собираюсь вас насиловать.

Он стоял в двух шагах от кровати, в длинном бархатном халате, держал в руке книжку, постукивал ее корешком по ладони другой руки, и весь его вид говорил то же, что он произнес вслух: «Мне некогда, я хочу поскорее заснуть, и вы вполне устраиваете меня в качестве снотворного».

Лола меньше всего ожидала, что в такую минуту – неприкрыто циничную, даже гнусную – ей захочется смеяться. Но ей захотелось именно этого, и она с трудом сдержала свой неуместный смех.

– Вы правы, – сказала она, глядя в створки его глаз. – Не то чтобы я не могла без этого уснуть, но в вашем обществе я чувствую себя как-то увереннее. По крайней мере, мне не лезут в голову глупости. Что ж, ложитесь – попробуем.

Она снова потянулась к выключателю.

– Оставь свет, – сказал Роман. – Иними ночную рубашку. У тебя хорошая фигура, это возбуждает.

– Черт знает что! – воскликнула Лола. – Интересно, в борделе, куда вы меня направляли, все происходит именно так?

– Во всяком случае, осмотр тела включен в оплату.

– Значит, надо тренироваться, – усмехнулась она, стягивая с себя рубашку. – Думаю, ваше отношение к этому делу окажется типичным для моих будущих клиентов.

Вместо ответа он снял халат, под которым, как оказалось, ничего не было, и, наклонившись над кроватью, поцеловал Лолу – не в губы, а в шею, под горло, и поцеловал очень сильно, до боли. От неожиданности она упала на подушку и вскрикнула. Роман навалился на нее сверху, прервал поцелуй и произнес – впервые не ровным, а чуть срывающимся голосом:

– У меня в последнее время не было женщины – кончу по-быстрому. Ты же этого хочешь?

– Д-да... – выдавила из себя Лола.

– Ну и хорошо.

Все, что он делал дальше, оказалось менее неприятным, чем она ожидала. Он действительно был похож на хищника – она назвала его так хотя и в досаде, но точно. У него даже мускулы были похожи на мускулы тигра, которого Лола видела в детстве в зоопарке. Сначала они были почти незаметны и тело казалось поэтому ровным, словно обтянутое шелком, но потом он вдруг сделал какое-то едва уловимое движение – и сразу под его гладкой кожей прокатилось что-то длинное, странное, что должно было бы пугать, но не пугало, потому что было так же красиво, как переливчатые мускулы под гладкой шкурой тигра.

Он положил ладони ей на колени и резко их раздвинул; наверное, она судорожно сводила ноги, и это ему, конечно, мешало. Может быть, он должен был бы попросить, чтобы она раздвинула ноги сама, вместо того чтобы дергать их в стороны так коротко и жестко. Но Лола была даже рада такой его бессловесной жесткости: она все равно не знала, что ей надо делать и как, и наверняка делала бы все бестолково, если бы стала прислушиваться к каким-нибудь словам, а не подчиняться простым и понятным движениям.

Она все время помнила, что надо постараться не вскрикнуть от боли, и тогда он, может быть, не заметит той глупой странности, которая его ожидает, – и не вскрикнула, хотя ей в самом деле стало больно, когда он наконец вдавился в нее, именно вдавился, даже протиснулся; иначе невозможно было назвать то, что ему с трудом удалось сделать между ее послушно раздвинутыми ногами.

Вскрикнуть-то она не вскрикнула, но губы все же прикусила, потому что боль оказалась не мгновенной, а долгой, натужной, как его давящее движение в глубь ее тела.

– Этого только не хватало... – процедил он сквозь стиснутые зубы.

Голос звучал сердито, но глаза, приблизившиеся почти вплотную к Лолиным глазам, сверкали каким-то совершенно другим чувством – впервые чувством, а не перламутровым равнодушием, хотя это чувство все-таки было в его глазах таким же неуловимым, как их цвет.

Ей показалось, что после этих слов он заторопился. Или так все и должно было происходить, даже если бы он не старался закончить все это поскорее? Этого Лола уже не поняла – от стыда она зажмурилась и поэтому больше не видела его глаз, а только чувствовала его движения у себя внутри; эти-то движения почему-то и казались ей торопливыми.

Через минуту он замер над нею, весь как-то выгнулся, задергался, словно в коротких судорогах, сразу же перекатился через нее и лег рядом. Лола не знала, что теперь делать, что говорить и надо ли вообще что-нибудь говорить. Он, во всяком случае, молчал, и она решила промолчать тоже.

– Тебя что, в гарем готовили? – наконец произнес Роман. – Сколько тебе лет?

– Двадцать семь, – пробормотала она.

– Азия, конечно, есть Азия, но я думал, у вас там от девственности все-таки пораньше избавляются. Оставь свет! – прикрикнул он, заметив судорожное движение, которым она потянулась к выключателю. И добавил уже чуть мягче: – Не злись. Хоть предупредила бы, а то и правда как будто изнасиловал... Ничего, это только в первый раз противно, а потом разохотишься.

– В борделе?

– Все-таки ты мне нравишься, – усмехнулся он. – Правильно реагируешь. К тому же у меня в связи с тобой, можно сказать, знаменательное событие произошло: ты первая девственница, которая попала на моем сексуальном пути. Представь себе, даже в четырнадцать лет не удалось попробовать, что это такое: одноклассница оказалась опытной, как портовая блядь. Так что отдавать такой уникам в бордель, пожалуй, будет чересчур расточительно. – Он повернулся на бок, оперся локтем о подушку и окинул Лолу откровенно оценивающим взглядом. – Правда, имя у тебя примитивное. Лена... Стандартнее только Света и Наташа.

– Если бы я реагировала на тебя правильно, – пожала плечами она, – то сказала бы, что это не твое дело. Но поскольку мне наплевать, правильно я реагирую на твои претензии или неправильно, то сообщаю: меня зовут Лола. Меня все так называют, ничего доверительного лично для тебя.

– Лола, конечно, тоже не бог весть что, – невозмутимо заметил он. – Во всяком случае, я что-то такое слышал. В каком-то фильме, кажется. Но все-таки не слишком затасканно. Если ты еще научишься не кутаться после секса в одеяло, то будешь смотреться вполне приемлемо.

Одеяло она натянула на себя как-то незаметно: ей было неловко лежать перед ним совершенно голой, и свет ночника казался ей теперь не матовым, а даже слишком ярким. Ей неловко

было и смотреть на него, голого, но не накрывать же было одеялом и его! Он явно не стеснялся своего наготы, да ему и нечего было стесняться: у него были узкие, но ровные плечи, и гладкая кожа, и коротковатые, но не кривые ноги, и плоский, без капли жира живот. Промежуток между его животом и ногами Лола стыдливо обходила взглядом. И он, конечно, сразу это заметил, хотя как он мог это заметить, она не понимала. Он вообще не смотрел на ее лицо, только оценивающе разглядывал тело, словно размышляя, подходит оно ему или нет.

Роман усмехнулся, взял ее за руку, потянул к себе – довольно резко, так, что Лола ткнулась плечом в подушку, – положил ее ладонь к себе на живот, потом подтолкнул ниже...

– Ну-ка сожми пальцы, – приказал он. – А теперь разожми. И еще раз то же самое. Сильнее, резче! Не стесняйся, мне это нравится. Вот так, молодец. – Он одобрительно похлопал ладонью по ее руке, вздрагивающей у него между ног. – Это даже хорошо, что ты ни хрена не умеешь, зато сразу научишься правильно. Веди себя во время секса так, как тебе это свойственно – резко, жестко, без соплей.

– Это соответствует желаниям мужчин? – насмешливо спросила Лола.

Изображать насмешливость ей было нелегко. Его тело жгло ей ладонь, она не чувствовала ничего, кроме стыда, и единственное, чего ей хотелось, это поскорее отнять руку. Но сделать этого она не решалась – все-таки она совсем не умела вести себя во время секса так, как это было ей свойственно в обычной, дневной жизни.

– Это соответствует моим желаниям. А тебе очень хочется выполнять чьи-то еще?

– Да уж твоих более чем достаточно.

– Вот и договорились.

– О чем? – удивилась Лола.

– Ты будешь выполнять мои желания, а я за это позабочусь о твоём быте.

– Твои предки не из бухарских эмиров происходили? – поинтересовалась она. – Такое впечатление, что женщин ты видел только в гареме.

– У меня самые обыкновенные предки, но дело не в них. Просто я не понимаю, зачем мне нужна женщина, если она не выполняет моих желаний.

– А вдруг ты окажешься извращенцем?

Услышав это, Роман расхохотался.

– Для азиатской девственницы ты слишком просвещена в половых вопросах, – отсмеявшись, заметил он. – Не беспокойся, бить тебя плетью из секс-шопа я не буду. В этом нет никакой необходимости: ты еще ничего не пробовала, так что раззадорить тебя будет нетрудно и незамысловатыми способами. Такой свежачок, как ты, – редкая штука, а я люблю редкости. По-твоему, это извращение?

– Я не знаю, – вздохнула она. – Я ничего не понимаю... Я всего этого совсем не ожидала.

– Ну и что, что не ожидала? Я, знаешь ли, тоже не ожидал, что так оригинально проведу сегодняшний вечер. Но это же не мешало мне провести его именно так. Резче, жестче, – напомнил он. – Не ожидай сантиментов – ни от себя, ни тем более от других. Содержать женщину, которая привлекла мое внимание, это для меня такая малость, о которой не стоит даже задумываться. Просто мне кажется удобным распробовать тебя получше, а потом уж решить, не ошибся ли я в первом впечатлении. И тебе тоже это удобно. Скажешь, я не прав?

– Не скажу, – снова вздохнула Лола.

– А раз прав, то и не вздыхай так томно. И руку с моего члена уже можешь убрать. В следующий раз поучимся правильно с ним обращаться, а сейчас мне надо выспаться. День завтра и так намечался нелегкий, а теперь еще придется разбираться с этой подставой в аэропорту.

Он встал с кровати и, не одеваясь, поднял с пола халат и книгу.

– Я... – начала было Лола.

– Ты можешь не оправдываться, – оборвал ее Роман. – Мы эту ситуацию проясним завтра же, вне зависимости от твоих объяснений.

– А ты не боишься оставлять в своем доме женщину с непоясненной ситуацией?

– Не боюсь. Нет такой женщины и нет такой ситуации, которой я стал бы бояться. Так что спи спокойно, Мата Хари. Завтра обсудим подробности нашего сексуально-бытового соглашения.

И, не глядя больше на Лолу, он вышел из комнаты.

Глава 8

Лоле казалось, что она не спала всю ночь. Ее окружали странные видения: лилии на стенах казались клеймами на плечах преступниц – как у миледи из «Трех мушкетеров»; ветер, свистящий за окном, словно прижимал к стеклу чьи-то сумрачные лица... Ей было так тоскливо и одиноко, как не было ни разу за весь этот год, который она провела в одиночестве.

Но утром, едва открыв глаза, она увидела, что часы на ночном столике показывают половину одиннадцатого. Получается, она все-таки спала, просто сон не показался ей отдыхом, и тело ломило, как будто она всю ночь таскала тяжести.

И тут же Лола вспомнила, как провела эту ночь и от чего болит все тело, и, вспомнив, поежилась. Этой ночью она совершила самый разумный поступок в своей жизни, да и вообще все устроилось для нее так удачно, как и ожидать было невозможно. Но ничего, хотя бы отдаленно напоминающего радость, она при этом не ощущала.

«Ну и дура, – злясь на себя, подумала она. – Пора бы научиться тому, что есть, радоваться. Еще ладно бы хотела чего-то особенного, а то ведь и ничего вообще-то не хотела. Так, бросилась от отчаяния в белый свет... В самом деле, как беспризорница. Вот и радуйся, что не под забором ночевала!»

Потом она заставила себя порадоваться горячей воде, текущей из крана, и жемчужному гелю для душа, и большому, подогретому на блестящей металлической трубе полотенцу. Потом оделась в свое вчерашнее платье из выцветшей и вытянувшейся «шотландки» – вся ее одежда сгорела, а это платье было на скорую руку перешито из старого Людкиного на тети-Зоиной допотопной машинке, – и спустилась вниз. Оказавшись в нижней части центрального зала, она заглянула в примыкающую к нему комнату, где вчера ужинала с Романом. Здесь было уже убрано, камин погашен, скатерть снята со стола.

Все-таки красный кедр, пожалуй, действительно был таким деревом, которое наилучшим образом подходило для строительства жилья. Тишина, стоявшая в доме, была не могильной и не больничной, а живой, теплой; о нее можно было потереться щекой. Лестница в середине зала была освещена льющимся из окон второго этажа светом, и поэтому казалось, что вокруг нее, словно вокруг оси, кружатся все комнаты этого огромного дома. Впрочем, это и не казалось: дом действительно был спланирован таким необычным круговым образом.

На нижней ступеньке лестницы сидел деревянный гном и оценивающе разглядывал каждого, кто собирался подняться вверх. Вчера Лола его не заметила, а сейчас, приглядевшись, не удержалась от улыбки. У гнома было лицо Романа – надменное, с правильными чертами и выпуклым, кажущимся особенно большим из-за наметившихся залысин, лбом. Глаза гнома были искусно сделаны из каких-то переливчатых камней или из ракушечного перламутра. Бесстрастные и пронизательные, они сразу заставляли вспомнить хозяина дома.

То, что этот самовлюбленный человек все же склонен к самоиронии, почему-то было приятно. Лола коснулась руки деревянного существа. Та оказалась такой же гладкой, как рука прототипа. Она вздрогнула, вспомнив, как Роман раздвинул ее колени, а потом заставил ее положить руку у него между ног, сжать пальцы...

Вряд ли она была в доме одна. Возможно, вчерашняя дама в синем была где-нибудь на кухне, и можно было бы поискать ее, чтобы позавтракать. Но есть хотелось так же мало, как видеть здешнюю прислугу, поэтому Лола поскорее отыскала переднюю, где вечером оставила свое пальто, и, одевшись, выскользнула из дома через балконную дверь, которую еще вчера заметила в сплошной стеклянной стене холла.

День был холодный и сумрачный, тучи плыли так низко, что едва не задевали верхушки деревьев небольшой рощицы, окаймляющей пустынное поле. Наверное, за этой рощицей находились другие дома или еще какие-нибудь признаки цивилизации. Не Сибирь же здесь, не

просторы необъятные, обычное Подмосковье, и дом наверняка не стоит один-одинешенек на сотни километров вокруг. Но рощица так удачно отгораживала этот дом от всего белого света, что от одного только взгляда на золотые деревья под низкими серыми тучами Лола почувствовала в душе тихий, как этот октябрьский день, покой.

Совсем рядом с домом росло несколько плодовых деревьев. Листья с них уже облетели – может быть, от сегодняшнего ночного ветра, – но Лола легко узнала яблони и сливу. Наверное, это были остатки прежнего сада.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.